ГИТАРА ИЛИ СТЕТОСКОП?

ГИТАРА ИЛИ СТЕТОСКОП?

Повесть и рассказы

Перевод с немецкого

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

84.4Ге
Г 51

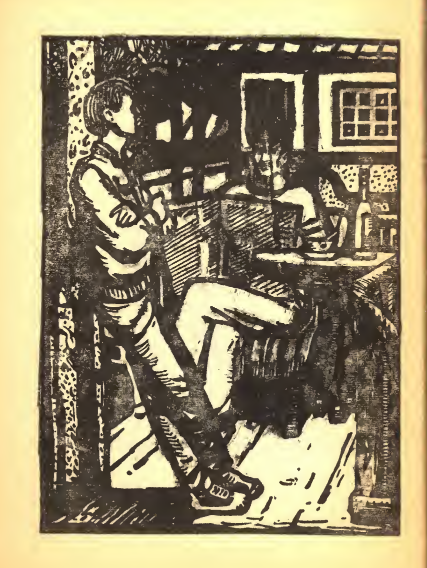
Сборник подготовлен совместно с издательствами ГДР «Киндербухферлаг» и «Нойес Лебен»

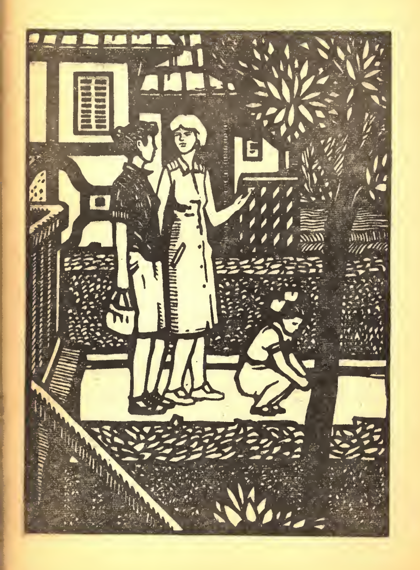
Г $\frac{4802020000-263}{078(02)-84}$ 162—84

Руди Бенцин

ГИТАРА ИЛИ СТЕТОСКОП?

Повесть





Меня зовут Балтус. Фамилии не скажу.

Меня просто воротит ото всех этих ахов и охов: ах, а вы случаем не родственник писателю с такой же фамилией? Ох, да не сын ли вы?..

Да, я евойный сын.

Надоело! Я — это я, он — это он.

Стоит мне назвать свою фамилию, как сразу пробуждается интерес — не ко мне, разумеется. Ведь не я же написал «Праздник Стрельца» и «Стартовый состав»!

Он — Светило, я — Светлячок.

Балтус Светлячок.

Если честно, то́ так я не всегда о себе думал, еще каких-нибудь две-три недели назад все было «о'кэй», тогда мой компас железно показывал направление движения: доктор медицинских наук. Да и что могло сбить меня с курса? Средний балл — пять целых ноль десятых. А уж с такой характеристикой, как у меня, хоть в Народную палату выбирай.

У меня по сей день праздничным пасхальным перезвоном звучит в ушах речь нашего директора, которую он произнес на одном из школьных вечеров: «...с этого Балтуса многим из вас следовало бы брать пример, он не только знает, чего хочет, но знает, что должен сделать, чтобы добиться своей цели. К тому же он не только ради себя старается, но всегда стремится своей активностью обогатить жизнь коллектива. Он мечтает

о профессии врача. При его жажде знаний по всем без исключения дисциплинам, при его великом трудолюбии он, я уверен, своего добьется. Я не знаю в нашей школе ученика, который был бы более достоин медали Гердера, чем...»

Директор подложил мне настоящую свинью. Сами понимаете, как приятно после такой речи ходить по школе омедаленным эталончиком.

И все-таки, Балтус, все в норме, курс верный. Это я понял благодаря все той же речи.

Заполняя учебную заявку, там, где нужно проставить специальность, я написал — «медицина». А так как я в конце концов был стопроцентным кандидатом, то в колонку «специальность резервная» я смело и нагло еще раз написал — «медицина». Сбоя-то произойти не могло. Но он случился!

На последнем собеседовании в школе меня пытались переубедить члены выпускной комиссии.

Балтус, сказал наш тогдашний, ныне уже бывший директор, мне не верится, что в таком юном возрасте вы так твердо можете знать, что вам подходит только медицина и ничего больше. Почему бы вам не выбрать педагогику? У нас так не хватает учителей по естественнонаучным дисциплинам.

К такому повороту я был готов!

Нет нужды убеждать меня, что учитель — исключительно важная профессия. Только я считаю, учителями должны становиться те, кто этого хочет, у кого есть педагогическая жилка; как и певцом, например, — тот, у кого есть голос, таких людей называют талантами. И учителем тоже не каждый может стать. Я вот не могу.

Так я и сказал, слово в слово. Я твердо стоял на своем: медицина, и точка.

Если человек хочет стать инженером-строителем или, предположим, военным летчиком, никто не возра-

жает. Но вот если врачом... Сразу возникает подозрение — не влекут ли тебя большие деньги, не заворожен ли ты просто магической силой белого халата; закрадывается опять-таки подозрение, что у тебя составилось о профессии врача ложное представление и что вообще тут, вероятно, замешана нечистая сила, что все это не более чем игра в романтику, плод разгоряченной юношеской фантазии.

Но как те, кто, скажем, желая стать инженером с большой буквы, взахлеб читает биографии великих изобретателей и мечтает когда-нибудь совершить безмерно великое открытие, так и я с десяти лет начал «проглатывать» биографии великих медиков: Коха, Вирхова, Зауэрбаха, Бругша, Швейцера. С одиннадцати я мечтал, чтобы Швейцер срочно вызвал меня к себе в Ламбарене. С шестнадцати я стал тайком посещать некоторые лекции, штудировать специальную литературу по медицине и слушать доклады на медицинские темы в обществе «Урания». Да, я запрограммировал свое будущее — я мечтаю стать врачом, хочу во всеоружии знания сражаться с болезнями и самой смертью. Хочу, очень хочу.

И что же? Когда мне думалось — вот-вот начнет осуществляться моя давнишняя мечта, вдруг оказалось, что я стою у разбитого корыта.

«Сходил бы ты, сынок, к отцу, у него связи, если он подключит кого надо, все сразу уладится», — говорит мать. Но я так не хочу! Я не хочу, чтобы своей цели я добился только за счет того, что мой отец — человек со связями. Я хочу добиться всего сам, своими собственными силами. Ради этого я корпел и потел над учебниками, терпел издевки одноклассников, иногда называвших меня карьеристом. И если уж суждено мне когда-нибудь достичь поставленной цели, то мне бы хотелось, чтобы благодарен за это я был только самому себе — Балтусу, а не своей авторитетной фамилии...

1

Он едет в трамвае, между коленями зажата гитара. Она ему как-то в тягость. Да и вообще он испытывает довольно противоречивые чувства.

Три недели назад он написал письмо профессору Биррхану, тому Биррхану, на чьи лекции он так часто приходил тайком.

Этим письмом он хотел как бы загадать: если профессор пригласит его на беседу, это можно расценить как добрый знак, а чем она кончится, в общем неважно.

Биррхан позвал его к себе!

Может, потому, что его фамилия...

Когда Балтус рассказал Марине о письме и о связанных с ним ожиданиях, та сказала:

— Балтус, честное слово, ты наивен как ребенок.

Теперь, направляясь в университетскую клинику, он мысленно признает правоту Марины:

«Да, наверно, я потерял голову. Разве может выйти что-нибудь толковое из этой беседы?»

А тут еще эта гитара, которую он везет с собой. Но ведь сразу после беседы с Биррханом ему надо на репетицию: школьный ансамбль, организованный им три года назад, послезавтра должен играть в порядке шефства в доме престарелых.

Лебединая песня. Последний раз сыграют вместе, и все, точка, разлетятся потом кто куда. Сначала каникулы, последние школьные, после них — в армию, ну а потом кто в институт, кто в университет — все пятеро, только не он.

Трамвай останавливается. Балтус выходит. Чтобы как-то приободрить себя, он идет к красному кирпичному зданию, крытому черепицей, особенно резвым шагом, почти вбегает в железные решетчатые ворота. Потом его энергичные стремительные шаги гулким эхом отдаются в просторном коридоре, постепенно он сбавляет

шаг, стараясь идти ритмичней, чувствует, как влажнеют ладони.

Он раздумывает: еще не поздно повернуть назад, просто повернуть назад, сделать вид, будто никакого письма вовсе не было.

Но в то же время в виски ему стучит: трус, трус, трус.

Все дальше и дальше идет он по коридору больницы, навстречу ему движется толпа хихикающих медсестер-стажерок.

— Кому это он серенады собрался петь? Родильное-то отделение не здесь, а в корпусе номер три, — издеваются они.

Балтус обгоняет санитара, толкающего перед собой коляску со старушкой.

Но вот наконец и дверь с картонной табличкой: пр. д-р Рихард Биррхан.

Он приставляет гитару к стене, вытирает влажные ладони о штаны и стучит в дверь.

Он еще раздумывает, не лучше ли оставить гитару в коридоре, а то, наверно, у него такой нелепый вид с этой... Но когда изнутри раздается отрывистое «прошу!», он механически берется за гриф гитары и входит в кабинет.

— Проходите, молодой человек, присаживайтесь, — говорит высокий сухопарый профессор, сидящий за письменным столом спиной к окну.

Балтус садится и кладет гитару рядом с собой на пол, вверх грифом.

— Да, письмо ваше я прочел. Пригласить-то я вас пригласил, но вот быть полезным, вероятно, вряд ли смогу. Кстати, ваша фамилия... вы не сын писателя Прайсмана?

Балтус секунду-другую тянет с ответом. В ушах у него звучит голос матери: сходил бы ты, сынок, к отцу, у него достаточно связей, чтобы...

Балтус нервно, но твердо отвечает:

— Нет, господин профессор, я не сын писателя.

— Впрочем, это неважно. Что же касается вашей проблемы, то я вам задам лишь один вопрос, который вам, вероятно, приходилось слышать довольно часто, — это и в самом деле может быть только медицина?

Балтус ерзает на стуле.

— Да, — говорит он, — я хочу стать врачом.

Профессор чуть приподнимается из-за стола, бросает взгляд на гитару и улыбается.

— Ну что мне вам сказать? Конкурс у нас по меньшей мере три кандидата на место, у всех прекрасные характеристики, отменные оценки, у всех в документах помета «особо склонен». Это значит: двоих необходимо отсеять. Простая арифметика и очень суровая для тех двоих, которые будут отсеяны. Должен вам сказать, что совесть меня изрядно мучит. Кто может поручиться, что мы отбираем действительно самых достойных? Нет ли среди тех, кого мы не приняли, потенциального Роберта Коха или Эйнштейна медицины? Вопрос этот не дает мне покоя, но лучшего решения я пока не знаю... А вы, вы не можете стать кем-нибудь другим, кроме врача?

Балтус осторожно отодвигает гитару ногой подальше от своего стула — в направлении профессорского стола, чтобы совсем убрать ее из поля зрения своего авторитетного собеседника.

— Нет. Да я и не хочу представлять себя кем-либо иным. Я хочу стать врачом.

— Что же, если вы так упорствуете, я, пожалуй, не стану вас отговаривать, вот только помочь я вам действительно не могу. Вы, кстати, не задумывались когда-нибудь над тем, в какое положение можете попасть, если желание ваше не осуществится? Могу дать вам только один совет: поработайте год-два в больнице санитаром и попытайтесь потом еще раз выставить свою кандидатуру. Может статься, вам даже дадут направление. Правда, гарантии тут никакой нет, так

что обдумайте все основательно. Кстати, вы могли бы — в том случае, конечно, если примете соответствующее решение — поработать санитаром и у нас.

Профессор берет в руку папку из стопки лежащих перед ним бумаг и начинает перелистывать.

Балтус расценивает это как знак того, что профессор считает беседу оконченной. Он встает, поднимает с пола гитару и говорит:

— Благодарю вас, господин профессор, я подумаю.

Профессор через стол протягивает Балтусу руку:

— До свидания, господин Прайсман! — И добавляет: — В тот момент, когда вы вошли, с кем угодно держал бы пари, что вы сын писателя Прайсмана. Вы на него ужасно похожи.

Уже у самой двери Балтус еще раз поворачивается и говорит:

— И не проиграли бы, господин профессор. — Он плотно прикрывает за собой дверь. По лицу профессора пробегает веселая улыбка.

2

«А вы не задумывались над тем, в какое положение можете попасть, если...» — спросил он. Будто я давно уже не в таком именно положении. Но ведь есть еще и отец! Просто взять да пойти: привет, отец, у меня нелады, выручай. Он за телефон, звонит одному, другому, кладет трубочку, победно улыбается — ну вот, видишь, все можно уладить.

Ну не свинья ли я?

«Ты горд, но глуп как надутый индюк, — сказал мне Томми, — при таком-то старике, ведь ему стоит только пальцем пошевелить — и твоей проблемы как не бывало».

И в порядке наглядности примера указывал мне на Петера из параллельного класса. Петер не бог весть какая звезда, зато отец у него порядочная шишка.

Он и устроил так, что сын будет изучать теперь археологию. А ведь по этой специальности конкурс даже выше, чем у медиков.

Марина сказала: ты отчаянный идеалист, я хочу сказать, что у тебя такие идеалистические представления, прямо с ума сойти. И это мне хорошо знакомо. Когда я после профтехшколы пришла в детсад, я тоже думала: ну, теперь-то начнется настоящая жизнь — дети, коллектив... Дети — да, а вот коллектив в основном состоял из самых что ни на есть натуральных ведьм. О такой перспективе меня никто не предупреждал. Нам всегда рассказывали только о том, какой крепкой дружбой спаяны члены социалистических коллективов, а мне явно недоставало хотя бы краткого курса лекций по ведьмоведению.

Ах, Марина, мудрое чадо.

Конечно, у меня есть представления, и даже идеалистические. Разве я в этом виноват? Разве я виноват, что у меня нет никакого шанса претворить мои представления о жизни в саму жизнь?

А может, я и вправду просто по глупости не хочу, чтобы меня выручал отец?

3

Балтус стоит перед домом Марины. Его взгляд бежит вверх по серому с облупившейся побелкой фасаду до окон третьего этажа. Все окна настежь — день жаркий. Слышна музыка, конечно, только из Марининого окна.

Балтусу хочется поговорить с Мариной о себе, о встрече с профессором Биррханом, просто о том о сем и вообще обо всем. Пусть она редко когда дает толковый совет, зато умеет слушать. Он не знает человека, который мог бы слушать лучше, чем она. Разве только Петер, но, по понятиям Балтуса, он чересчур уж практичный. Ну а в чем тут, собственно, проблема, спросил

бы он. Да ты сходи к своему старику, и дело моментально уладится. Балтус нуждается в ком-нибудь, кто мог бы слушать, просто слушать; тогда он и сам может найти решение. Когда его слушает Марина, такое с ним бывает. В шутку он часто называет ее духовной матерью.

Он смотрит на часы. Вообще-то уже довольно поздно, но там, где играет музыка, люди наверняка не спят.

Он входит в дом, поднимается по лестнице. На площадке третьего этажа чуть приоткрывается одна из дверей, и сварливый женский голос сообщает:

— Карл, Карл, тут еще один хулиган наверх идет, пора и полицию вызывать...

Балтус стоит перед дверью Марининой квартиры и читает надписи, сделанные всеми возможными предметами, самыми разнообразными красками, — прекрасный источник информации и всяческих сведений для хозяйки квартиры. Он читает только самые свежие: «Была уже три раза, ты куда сгинула? Хочу содрать с тебя монету. Тина». «Срочно позвони по 223-33-348, дело важнейшее, Петра». «К тебе только в гости приходить! Завтра заявимся снова, готовь ужин. Берт и Брит».

Балтус собирается позвонить, но тут замечает, что дверь лишь притворена. Он заходит на кухню. Его встречает мощная волна музыки. На кухне он видит парня с ножом и буханкой хлеба; прежде он никогда его у Марины не видел. Заметив Балтуса, парень говорит:

— Привет, если хочешь побалдеть вместе с нами, сними сначала туфли, а то старуха снизу уже два раза прибегала, плакалась. А вообще вторая дверь направо, там музыка.

— Да, со слухом у меня порядок, — говорит Балтус и снимает ботинки, потом аккуратно присоединяет их к другим, в беспорядке сваленным в углу.

В комнате полумрак. Две парочки танцуют, одна

девушка сидит на полу на подушке. Балтус садится рядом.

— Салют, Марина! По какому случаю праздник?

Марина протягивает ему сигарету и отвечает:

— Да так, просто так, сам собой вышел! А каким ветром тебя занесло?

Балтус берет сигарету и вкладывает ее обратно в пачку.

— Легким. Просто взял и поднялся, свет в окнах увидел, да и слышно вас.

Марина берет сигарету. Балтус зажигает спичку.

— Смешно, все так объясняли — «просто взял да поднялся», — смешно. — Она пускает облачко дыма над столиком.

Музыка прекращается, конец пластинки, парочки рассаживаются, кое-кто здоровается с Балтусом. Один из парней наливает Балтусу водки.

— Вот, старик, пропусти маленькую, а то у тебя больно уж серьезный вид, это отрицательно влияет на общее настроение. Prosit!

Балтус выпивает, ежится и запивает водку глотком кока-колы.

Напротив, на стене рядом с портретом Че Гевары, висит гитара. Балтус встает, снимает ее и начинает настраивать.

Берет несколько аккордов, останавливается на «Иестеди», стародавнем хите битлов. Остальные подпевают, двигают в такт ногами. Парень, наливший Балтусу водки, выстукивает ритм пальцами по столу.

Балтус прекращает играть. Тот, кого он встретил на кухне, спрашивает:

— У тебя еще что-нибудь в репертуаре имеется? И необязательно из битловского старья.

— Ну, если ты знаешь что получше, держи... — Балтус протягивает гитару. Тот берет, чертовски профессионально проигрывает короткий пассаж, резко обрывает, раскланивается и говорит:

— Позвольте представиться — Гарри Великий. Ведущая гитара небезызвестной группы «Тоутл Глоубэл» *.

Все, кроме Балтуса, аплодируют. Не обращая внимания на аплодисменты, Гарри продолжает:

— Наверно, ты единственный человек в этой стране, кто меня не знает. Истинное чудо, особенно если учесть, что человек так здорово, как мне кажется, играет на гитаре.

Балтус чуть смущенно бормочет: «Извини, если б тут были установлены прожекторы, я б тебя узнал». Все смеются.

Из кухни, жуя бутерброд, выходит парень, угощавший Балтуса водкой.

— Если кто интересно пошутил, настоятельно прошу повторения.

Одна из девушек ставит новую пластинку. Полумрак, медленный блюз...

— Хороша вещица, — говорит жующий парень, — под нее станцевала бы и бабуся, что приходила снизу.

Все танцуют, только Балтус по-прежнему сидит на подушке и тихонько наигрывает на гитаре. Он закрывает глаза и отбывает в «мир гитарной грезы», как он это называет. Он умеет делать это независимо от места и времени: он закрывает глаза, пальцы бегают по струнам, с каждым тактом все ближе, ближе... Кабинет Биррхана... Профессор встает из-за стола, подходит, крепко жмет руку и говорит: «Господин Прайсман, поздравляю вас, разумеется, вы приняты, ведь мы не простили бы себе, если бы упустили такой талант, я буду лично курировать вас, я возлагаю на вас большие надежды...»

Смена музыкального ритма возвращает Балтуса в интимную действительность комнаты.

---

* «Вся планета»

Гарри и Марина танцуют, к тому же слишком прижавшись друг к другу.

Балтус встает, кладет гитару на подушку, выходит из комнаты в прихожую, надевает туфли. Вообще-то у него нет ни малейшего повода сердиться на Марину, ведь они в конце концов не обручены. Они товарищи, хорошие товарищи, не меньше, но и не больше. Так что танцевать, и так тесно прижавшись, она может с кем угодно и сколько угодно долго.

Балтус все еще обувается, когда в прихожую выходят Марина и Гарри.

— Почему так быстро? — спрашивает Марина.

— У вас здесь своя компания, быть пятым колесом не очень-то хочется.

— Трепло, — говорит Марина и целует его эдаким модным теперь, мимолетным поцелуем.

Большого желания оставаться у Балтуса нет. Что тут делать? Поговорить с Мариной наедине все равно вряд ли удастся. Да еще этот Гарри вмешивается.

— Пятое колесо — это не так уж и дурно, ты когда-нибудь слышал о запасном колесе? Оставайся, старик, я бы с удовольствием послушал еще что-нибудь, на гитаре то бишь.

Пока Балтус подчеркнуто неохотно снимает туфли, Гарри идет за гитарой. Вернувшись, он видит, как Балтус целует Марину, а может и наоборот, Марина — Балтуса, определить сложно, ясно только одно: целуются они поцелуем не модным, как бы мимолетным, а скорее уже старомодным — долгим и выразительным.

Гарри хлопает Балтуса по плечу:

— Эй, Джимми Хендрикс, ослобони даму и айда на кухню.

— Зачем это? — интересуется Балтус.

— Там видно будет, там видно будет...

Гарри садится на край кухонного стола, ноги ставит на стул. Балтус усаживается на подоконник.

— Слушай, — говорит Гарри, — я сейчас кое-что тебе сыграю, а ты внимательно следи, не зевай.

Он демонстрирует сначала несколько несложных аккордов в комбинациях, потом усложняет игру.

— А теперь попробуй повторить, только, пожалуйста, не жеманься.

Балтус берет гитару и без труда играет все, что играл Гарри.

— Или ты самородок, или чертовски долго поработал на этой деревяшке, — говорит Гарри.

— Я играю с шести лет, а последние три года в нашем школьном ансамбле...

— Тогда стой тверже и напряги слух, я делаю тебе предложение.

Балтус плавно съезжает с подоконника.

— Предложение такое: ты можешь присоединиться к нам. Юмбо, наш второй гитарист, с сентября начинает работать с собственной группой, так что нам нужен новый человек.

Балтус ошарашен.

— Ты хочешь сказать, я стану членом группы?

— Согласие необязательно давать сразу, можешь и подумать.

— Ну, теперь держись ты. Знаешь, кем я хочу стать?

— Нет, конечно, откуда бы?

— Врачом! Врачом и никем иным!

— Ах, вот как, господин доктор начинает в сентябре курс обучения?

— К сожалению, нет, не приняли, — грустно сообщает Балтус.

— Ну, парень, тогда мое предложение для тебя настоящий подарок судьбы, или тебе, может, известен какой-нибудь хитроумный способ получить медицинское образование и соответствующий диплом? Как ты собираешься стать врачом, если тебя не приняли в институт?

— Это уж моя проблема, не твоя, — сухо отвечает Балтус.

Гарри не отступает.

— Давай все-таки потолкуем на разумной основе. С одной стороны, тебе предлагают шанс, с другой — у тебя вообще нет никакого. Не болван же ты, чтобы не видеть такой очевидной истины. Если ты попадешь к нам и мы сработаемся, то самое позднее через два года будешь раскатывать на собственных «Жигулях». Допустим, произойдет чудо, и ты поступишь в институт. Какой, думаешь, будет твоя жизнь через два года? А такой, что ты будешь просто сгорать от счастья, если я тебе при встрече бесплатно поставлю кружку-другую пива. Ну, ладно, стал ты наконец врачом, отбухал, разумеется, предварительно пять или сколько там лет, и что потом? Потом будешь изучать дряблые гнилые животы, рассматривать миндалины и прописывать пилюли — и все это не где-нибудь, а в какой-нибудь захудалой больничке мекленбургского захолустья.

— Замолчи ты!

Балтус взбешен. Ведь в том, что говорит Гарри, есть некая логика. Некая. Не некая, а совершенно определенная, та, которую можно вычислить, — в марках, пфеннигах, месяцах, годах.

«А вы не задумывались, в какое положение можете попасть, если вам не удастся стать врачом?» — звучит в ушах Балтуса голос Биррхана.

Но тут его снова возвращает к действительности Гарри:

— Мы как раз отправляемся в турне по приморским курортам, на месяц, потом в отпуск. В сентябре начинаем репетиции, вот тогда и можешь подключиться. Надо бы только получить в музыкальной школе профессиональное удостоверение, но это можно быстро уладить. Ну как, да или нет?

— Да ничего я тебе не скажу, не знаю...

Балтус колеблется. А что, если и вправду ничего не получится с учебой? И кто может дать гарантию, что после одного или двух лет работы санитаром его действительно направят на учебу в институт? А предложение Гарри не химера, и оно ужасно заманчиво, и не только из-за денег.

Гарри напирает, он почувствовал, что Балтус заколебался.

— Ну, остановимся тогда на том, что ты пока не говоришь «нет»...

В это мгновение на кухне появляется Марина.

— Не буду вам мешать, — говорит Гарри, берет гитару и уходит. У самой двери поворачивается и подытоживает: — Итак, ты не сказал «нет», доктор...

— Ты не голоден? Подожди чуть, сейчас что-нибудь приготовлю, — говорит Марина.

— У этого вашего Гарри сдвиг по фазе. Как он у тебя очутился?

— Бербель привела. Что он к тебе пристал?

— Да так, вздор, все вздор, я, собственно, пришел, чтобы поговорить с тобой кое о чем, но при таком вавилоне... Мне надо о многом подумать... Знаешь что, Марина, собери-ка завтра утром все, что тебе необходимо из вещей на две недели, и махнем-ка мы с тобой к Балтийскому морю. Годится?

— Ты сбрендил, Балтус! Завтра утром ровно в шесть перед детсадом будет стоять орава малышей и ждать моего появления. Что ж, мне их просто бросить, чтобы ублажить душу морально надломленного Балтуса? Ты и сам чуточку того!

— Ну придумай что-нибудь, и поедем тогда после обеда, не может быть, чтобы ты не смогла найти какой-нибудь повод.

— Балтус, я не хочу его находить, я не могу сейчас уехать, сейчас пора отпусков, во всем детском саду осталось всего две воспитательницы на двадцать четыре ребенка, а ты хочешь, чтобы я устроила себе

каникулы с тобой на Балтийском море, ах, Балтус, Балтус!

Марина целует его, целует так, как целуют своих непутевых детей заботливые матери.

4

На душе у меня примерно так, как у тех одиноких путников в ночи. Сходить, что ли, к моему старику? Почему, собственно, нет? Что, мы с ним ссорились разве, чтобы нельзя было откровенно, по душам поговорить? Нет, ссориться не ссорились!

И что такого, если сын идет к своему отцу и говорит: послушай, отец, я сошел с рельсов, помоги!

А я вот не могу пойти!

Если б он остался тогда с нами, я хочу сказать, если бы он не развелся с матерью, тогда мне, может быть, легче было найти с ним сейчас общий язык. Может быть? Да нет, не может быть, а совершенно определенно, наверняка.

Мы с ним всегда хорошо понимали друг друга. Мы с ним такие дела творили, не всякий отец способен на такие выдумки, на какие горазд был мой отец, а главное — он всегда их вместе со мной осуществлял.

Мне было тогда, наверно, лет шесть, от силы семь, и я, вероятно, только что посмотрел фильм «Остров сокровищ». И тогда, разумеется, мне непременно хотелось отыскать какой-нибудь клад. Все, что можно было перекопать в нашей окрестности, я перерыл как крот. Отец вошел в мое положение. И вот чисто случайно я обнаружил в угольном подвале пожелтевший клочок бумаги, неровно обгоревший по краям, на нем химическим карандашом были обозначены два дерева, между ними — большой камень, а рядом с камнем — красный чернильный крест. Место это неподалеку от гидростанции было мне знакомо. В ближайшее воскресенье мы оба — отец и я — отправились на розыск сокровищ.

Отыскали отмеченное на карте место и стали копать. Копали довольно долго, и вот наконец наткнулись на жестяную банку, доверху набитую разноцветными кубиками. Так я стал владельцем клада «Кротовой ямы». И не скоро же я сообразил, что все подстроил отец.

Никто из моих друзей ничем подобным похвастаться не мог. Отец вообще любил со мной возиться, но все это было в ту пору, когда его имя еще не стояло в справочнике.

В какой-то момент, точно определить его сейчас не могу, все вдруг изменилось.

Может быть, это началось в тот день, когда он пошел со мной в «Линденкорсо» и за кофе и мороженым сказал мне: послушай, ты ведь у нас совсем уже взрослый, поэтому я хочу поговорить с тобой откровенно, как мужчина с мужчиной.

Сначала я подумал, он хочет прочесть мне что-нибудь вроде нотации. Но я ошибся!

То, что он намеревался сказать мне, звучало так:

— У нас с матерью давно уже все не так, как было прежде, мы перестали друг друга понимать, поэтому мы разводимся. Между нами — тобой и мной — ничего не изменится. Ты можешь приходить ко мне в любое время, мы вместе будем ездить на каникулы, между нами все останется по-старому...

Было мне тогда двенадцать, и ничего не осталось по-старому, да, ничего. Он вскоре переехал к Тине. Живут они в центре города. Ей двадцать шесть, ему сорок шесть.

К Тине я всегда относился нормально. Она мне нравится, потому что не выставляет себя «новой фрау Прайсман» и никогда не делает попыток воспитывать меня.

Поначалу я ходил к отцу довольно часто. Но того, что нас прежде так крепко связывало, уже не было. Эта словами едва ли передаваемая связь, она вдруг исчезла, испарилась, улетучилась. Каждый раз он задавал одни и те же стереотипные вопросы:

— Ну, как школа? Чем могу тебе помочь?

И я отвечал по тому же стереотипу.

Наконец я стал приходить к нему только тогда, когда мне нужны были деньги на книги или вообще.

Я даже проверял его «щедрость». Транзисторный приемник — 480 марок. Спортивный велосипед с восемью скоростями — 450 марок. Стереомагнитофон — 1400 марок. И так, между прочим, от двадцати до пятидесяти марок. И тогда я понял. До меня ему совсем не было дела, деньги, которые он так охотно давал, создавали иллюзию, будто он что-то делает для меня. Полтора месяца назад, на мое восемнадцатилетие, он пригнал к моему дому мотоцикл. Я давно мечтал о таком, но я с радостью отказался бы от него, если бы взамен вернулось наше «время кладоискательства».

Может, и я мог бы сделать что-то для того, чтобы оно вернулось?

Почему я не иду к нему сейчас, да, именно сейчас, хотя уже почти двенадцать часов ночи?

Иду к нему!

Сейчас!

Может, стоит мне прийти к нему, как...

Сейчас мне нужен он. Не его связи, а его совет.

Ах, это предложение чокнутого Гарри! Хоть я и сделал вид, будто оно меня не очень-то заинтересовало, в настоящем моем положении оно все-таки в известном роде что-то вроде подарка судьбы. Гитаристы и получше меня с радостью ухватились бы за возможность играть в этой группе.

Исполнять и сочинять музыку, путешествовать, зарабатывать хорошие деньги или вкалывать санитаром с расчетом на смутную перспективу везения. Если так вот, без особого самокопания, взвесить все «за» и «против», решение вроде бы само собой напрашивается.

Если бы только так сильно не хотелось стать врачом, то...

Неужели я поставил перед собой ложную цель?

Ну а что, если я и в самом деле окажусь в сельской амбулатории, в мекленбургской глуши, если и вправду буду лишь животы щупать, рассматривать миндалины да лечить насморк и кашель?

И что ж тут зазорного? Да, я хочу этим заниматься. Там, где во мне нуждаются, я хочу помочь чем могу.

Но так, как обстоят дела сейчас, в том направлении нет пока никакого пути, во всяком случае более или менее перспективного.

Да, я еду к отцу, хотя теперь уже полночь. Через десять минут буду у него дома. Загадываю так: если увижу свет в квартире, позвоню, не будет света — еду домой.

Было бы здорово, если б он горел, было б здорово.

5

Шестьдесят, восемьдесят, сто, сто десять. Резко вздрагивая, бежит по кругу стрелка тахометра мотоцикла.

Балтус едет один, без Марины.

Походный рюкзак крепко пристегнут к багажнику, гитара — за спиной.

Курс — строго на север.

Ораниенбург, Левенберг, Гранзее: мелькают щиты с названиями городков и поселков. Точная цель его путешествия — не некая определенная точка, а линия, именуемая — побережье Балтийского моря. Через некоторое время он намерен ее достичь, через некоторое время в некоторой точке.

От значительного ускорения рождается в нем странное, бодрящее чувство, пронизывающее, словно электрическим током все тело, чувство это сродни тому, что человек испытывает при свободном парении в воздухе, сродни тому, что мы называем счастьем. Оно слагается из равномерного гудения мотора, стремительного

мелькания деревьев, высаженных вдоль шоссе, из бесконечной цепи микропотрясений, ощущаемых всем телом, заставляющих вибрировать каждую его клеточку.

Он чувствует себя слитым с машиной, дорогой, с полями, лугами и лесами, тянущимися справа и слева от шоссе.

Он сейчас в таком состоянии, в каком бывает только когда отправляется в сопровождении музыки, исполняемой им на гитаре, в свои воображаемые путешествия.

...В белом халате, со стетоскопом на груди стоит он перед своей сельской амбулаторией в мекленбургской глуши. Подъезжает огромный черный лимузин. Из него выходят представительного вида мужчины, все в черных фраках, впереди профессор Биррхан. Биррхан, возглавляющий выездную комиссию, почтительно подходит к нему и говорит:

— Уважаемый господин доктор Балтус, от имени Министерства здравоохранения Германской Демократической Республики мы уполномочены сообщить, что вас просят с сентября месяца сего года возглавить клинику Альберта Швейцера в Ламбарене. На эту почетную должность вы рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Мои вам искреннейшие поздравления, Балтус, дружище...

Визг тормозов!

С проселочной дороги выползает на трассу «трабант», чуть не столкнулись. Чуть было на веки вечные, чуть было не...

Сбавив скорость, Балтус внимательно следит за дорогой. Впереди перекресток, за ним бензозаправочная станция. На второй скорости он проскакивает перекресток, пересекает встречную полоску и подстраивается к длинному ряду машин. Бензозаправщик как раз подсоединяет шланг к подземной цистерне.

Так скоро отсюда не уедешь.

6

Свет горел. Во всех комнатах.

Я нажал кнопку вызова. Отозвалась Тина:

— Дуня, Вернер, а мы вас совсем заждались, думали уже, не придете...

Прежде чем я успел сказать, что это всего лишь я, прозвучал зуммер.

Мой отец и Тина стояли перед дверью лифта словно члены приветственной комиссии.

— Ах это ты! — сказал мой отец. — Неделями не показываешься, а теперь вдруг явился за полночь.

Он повернулся и пошел в квартиру. Тина, слава богу, из другого теста. Она подала мне руку:

— Добрый вечер, Балтус, проходи, пожалуйста, у нас тут, правда, тьма народу, но для тебя-то место, разумеется, найдется, — и потащила за руку в квартиру.

Я бы куда охотней спустился сразу на лифте вниз, и все же через несколько секунд я вежливо здоровался со всей многочисленной честной компанией. Кое-кто был мне знаком, большинство нет.

Скоро мне стало ясно, что они собрались по случаю возвращения моего отца из Франции, где он читал курс лекций, теперь же он должен был или хотел, не знаю, поделиться своими впечатлениями о поездке.

Тина принесла мне рюмку настоящего французского коньяка и тарелочку с бутербродами. И все-таки у меня было совершенно отчетливое чувство, что я попал не на свой пароход.

Я, болван, поверил, что между нами мог состояться серьезный разговор, великий разговор отца и сына.

Минут через пять-десять отец отвел меня в угол и спросил:

— У тебя что-нибудь серьезное?

— Да, — сказал я.

— Сколько тебе нужно? — И вынул из кармана пиджака портмоне.

Вот так!

— Может быть, ты позволишь рассказать тебе о моем серьезном?

— Ну не тяни, говори, двадцать пять тебе хватит? — спросил он, а пока спрашивал, все смотрел на гостей.

— Нет, не хватит. Дело в том, что я вообще не изза этого пришел. Я хотел поговорить с тобой, просто поговорить, понимаешь?

Наверно, мои слова прозвучали чертовски агрессивно, но я уже не владел собой. В голову шибануло настоящей холодной яростью.

Что он?

Он достал из портмоне деньги и опустил их мне в карман.

— Надеюсь, ты и сам понимаешь, что сейчас не самый подходящий момент для разговора?

— А завтра? — спросил я.

— Завтра я уезжаю с Тиной в Фельдберг, там мы укроемся от всех на ближайшие три недели. Кроме того, мне обязательно нужно написать хотя бы несколько страниц, а здесь у меня ничего не выйдет...

— Ну, тогда я приеду в субботу или в воскресенье, я...

И снова я попал не на свой пароход, да, не на свой, ведь он не дал мне даже договорить.

— Балтус, честное слово, в ближайшие три недели я вообще никого на свете не смогу видеть, пойми, пожалуйста.

Этим он накормил меня вдосталь, по самую завязку. Я оставил его, пошел к Тине, попрощался с ней и хотел исчезнуть.

— Надеюсь, вы не поссорились? — спросила она.

— Да ну, как можно, — сказал я и пошел.

Уже в лифте я услышал, как хлопнула входная дверь квартиры, услышал оклик отца:

— Балтус, Балтус, подожди!

«Ну и кричи себе», — подумал я.

Лифт спускался все ниже, ниже.

У выхода я чуть постоял, как бы ожидая чего-то. Чего?

Я и сам не мог тогда сказать. Может, что отец спустится вниз или что он еще раз позовет меня? Но ни того, ни другого не произошло. Ничего не произошло.

В кармане похрустывали его деньги. Я вынул их. Две бумажки по двадцать марок каждая. Когда я держал их вот так в руке, меня вдруг снова охватила ярость.

Входная дверь дома была лишь притворена. Я вернулся в вестибюль и опустил деньги в его почтовый ящик.

Тут моя ярость пошла на убыль, перестало перехватывать в горле и давить в животе.

Я отправился домой.

У Мариенкирхе я еще раз оглянулся. Наверху во всех комнатах горел свет.

С отцом я когда-то искал и нашел клад. С тех пор прошло чертовски много времени, чертовски много.

Ну что вы там разгуделись. И сам вижу, что пора двигаться.

7

Балтус продвигается вперед на длину одной машины.

Теперь ему виден путевой указатель у перекрестка. Фельдберг — 18 км. На секунду в голову ему приходит мысль: а не махнуть ли в Фельд... так, просто заглянуть...

Не успел он додумать эту мысль до конца, как в поле его зрения попадает нечто совсем новое.

От машины к машине идет девушка, спрашивает о чем-то водителей, все ближе и ближе к Балтусу. Когда она подходит к «шкоде», стоящей перед Балтусом, он слышит, как она спрашивает:

— Вы не в Шверин едете?

Мужчина за рулем бросает взгляд на жену. Жена так сверлит его глазами, что он извиняющимся тоном говорит:

— Очень, очень жаль, фройляйн, но нам в противоположную сторону.

Балтуса девушка минует, даже не взглянув на него. Тем пристальней смотрит на нее он.

Коротко остриженные волосы, дерзкий колючий взгляд, кошачьи глаза, вздернутый нос. Ноги, талия, все в норме.

Мало-помалу очередь двигается. Наконец к бензоколонке подъезжает и Балтус. Дает заправщику пятнадцать марок и говорит:

— Восемьдесят восьмого.

Он садится на мотоцикл, и вновь курс строго на север. Вторая передача, третья, он предельно нагружает мотор.

А кто это сидит на обочине у выезда из городка и так понуро глядит на дорогу? Девушка с бензозаправочной станции.

Балтус тормозит, тормозит так, что едва не слетает с сиденья. Он чуть подает машину назад и сдвигает защитные очки на шлем.

— Очень, очень жаль, но нам не на Шверин, — передразнивает он водителя «шкоды».

— Ну и кому до этого какое дело? По мне, так можешь ехать хоть туда, где раки зимуют, — резко парирует девушка.

— Таких, как ты, я особенно быстро заключаю в свое сердце, жаль только, что путь твой пролегает явно не из Вартбурга и не прямо на север, — говорит Балтус, переключаясь на иронический тон. — Быть может, любезная фройляйн соизволит сделать честь моим белоснежным «Жигулям» и разместится на заднем сиденье? Экипаж направляется прямым ходом в Аарен-

шооп, а переночевать вы можете дней несколько в моем дворце.

— Идиот, — говорит девушка, но говорит совсем даже незлобиво.

— Благодарю вас, вы оказываете мне исключительнейшую честь, за это я готов поехать и кружным путем через Шверин.

Девушка смеется.

— Если ты водишь машину не так идиотски, как разговариваешь, то, пожалуй что, и сяду.

— Леди, это будет ие езда, а истинный полет, — говорит Балтус.

Он берет ее сумку, закрепляет на багажнике. Гитару девушка закидывает себе за спину. Ои заводит мотор, трогается.

Девушка сидит позади Балтуса, чуть сдвинувшись влево.

Он оборачивается и, стараясь перекрыть рев мотора, кричит что есть мочи:

— А имя у тебя есть, прекрасное дитя? Меня зовут Балтус.

— Моника!

— О'кэй, Моника, от того, сколь крепко ты будешь за меия держаться, зависит, выживешь ли ты.

Балтус газует и наглядно демонстрирует, что мотоцикл способен за десять секунд увеличить скорость с нуля до ста километров в час.

Монику охватывает страх, по спине бегут мурашки. Она сидит застыв, обхватив обеими руками ручку сиденья. Чуть позже она робко кладет одну руку на плечо Балтусу.

По ее лицу скользит улыбка. Через некоторое время она и вторую руку кладет ему на плечо и прижимается к его спине.

Балтус свистит.

На что она говорит:

— Можешь не расслабляться, это исключительно

в порядке меры безопасности, ты ведь едешь как палач.

Равномерный шум мотора, пение колес от соприкосновения с асфальтом, близость девушки, солнце в чистом небе, мелькающие мимо деревья — Балтус грезит.

...Он сидит на лесной поляне, его гитара превратилась в лютню, украшенную разноцветными ленточками, на нем куртка и брюки, как у Дина Рида в фильме «Из жизни бездельника», перед безвкусным театральным занавесом, изображающим пруд, сплошь заросший лилиями, парит в воздушном танце закутанная в белый тюль Моника. Все абсолютно неподвижно в этой картине-грезе. Ей впору висеть над старомодным плюшевым диваном.

Неровный лающий гул низко летящего реактивного самолета возвращает Балтуса к действительности.

Он спрашивает через плечо, не испытывает ли Моника желания устроить маленький пикник на обочине, а еще лучше внизу у озера, там можно было бы отлично искупаться.

Моника не испытывает такого желания. Крепко прижавшись к Балтусу, она сидит с окаменевшей спиной. Всякий, кто увидел бы их сейчас, наверняка подумал бы — парочка. Не иначе. Когда они едут по улицам Шверина, Моника сидит все так же прямо, как истукан.

Она подсказывает Балтусу направление — налево, направо, снова налево, прямо, снова налево, второй перекресток налево, второй дом за углом. Перед этим домом на две семьи Балтус и останавливается.

Моника спрыгивает с сиденья, кладет гитару на согретое ею место, отстегивает сумку от багажника и протягивает Балтусу руку.

— Спасибо большое, что подвез, и приятного тебе отдыха на Балтийском море, — говорит она и собирается шагнуть на дорожку, ведущую к садовой калитке.

Балтус делает вид, будто страшно изумлен.

— Как прикажете вас понимать? Ни сладко-благодар-

ственного поцелуя, ни приглашения на чашку кофе, я уже не говорю о вполне заслуженном ужине! Я ведь вовсе не намерен загонять свою мотолошадь!

— На кофе у нас, к сожалению, карантин, вот только если чай? — предлагает Моника.

Вместо ответа Балтус ставит мотоцикл, берет гитару и прочие вещи и следует за Моникой через калитку во двор.

На входной двери три фамилии.

На большой медной табличке, до блеска отполированной, витиеватым шрифтом: Берта Мария фон Бреденфельде. На слегка покоробившемся картоне: Моника Трепте + С. Сантов.

Чуть погодя Балтус несколько скованно сидит в комнате, расположенной под самой крышей. У порога он сложил рюкзак, шлем, гитару, кожаную куртку.

Моника гремит в крошечном кухонном углу прихожей чашками, блюдцами, тарелками.

Балтус помаленьку оглядывает комнату.

Так: две кушетки поперек комнаты, над ними на высоте роста взрослого человека что-то вроде панно, такое впечатление, что нарисовано детской рукой. Перед кушетками маленький столик. У стены полка с книжками о дошкольном воспитании, учебниками и книгами по медицине.

«Ага, — думает Балтус, — скорей всего она воспитательница детского сада, а он медик. Ну да, ведь на табличке стояло — С. Сантов. Похоже, я не так уж благоразумно поступил, приняв ее предложение».

Он продолжает осматривать комнату, теперь уже с намерением побольше узнать о ее хозяевах. Рядом с книжной полкой висит красивое старинное зеркало в овальной позолоченной раме, под ним узенький в античном стиле столик, на нем — канделябр, по бокам канделябра — два старинной работы бокала из тонкого стекла.

«Да, во вкусе ей не откажешь», — решает он.

Платяной шкаф стоит как-то непривычно далеко от стены.

Заинтересовавшись, Балтус встает и заглядывает за шкаф.

Там стоит детская кроватка.

Значит, у них есть и ребенок.

«Ах, Балтус, Балтус, снова попал ты не на свой пароход», — думает он и возвращается к своему стулу.

Он чувствует себя очень неловко. Ему вдруг начинает казаться, что он ужасно навязчивый тип. Знакомится с девушкой, сам напрашивается подвезти, за язык-то его никто не тянул, но этого ему мало — вынудил еще и в дом пригласить. «Эх, сейчас бы улизнуть незаметно», — думает Балтус.

Надо бы что-нибудь сказать, что ли. Но что?

Моника все еще занята в кухонном углу.

Он спрашивает:

— Ты одна здесь живешь?

— Ну а если не одна, тебе бы это не понравилось?

— С какой стати?

— Да уж с какой-нибудь.

— Если хочешь, я вмиг исчезну, а то тебе, наверно, еще и нагореть из-за меня может.

— Ну чай-то тебе придется все-таки выпить, что ж, я зря старалась?

Балтус соображает, что бы такое еще у нее спросить, чтобы побольше о ней узнать.

Тут выручить может только прямая наводка, и он спрашивает:

— А если придет твой друг, что тогда? Да тебе еще, наверно, и за ребенком надо идти. «Ну, парень, это ты, похоже, малость перебрал», — спохватывается он.

Моника со смехом отвечает:

— С чего это ты взял?

Моника входит в комнату с подносом и ставит на стол чашки, блюдца, маленькую вазу с печеньем и чайник.

— А ты рассчитывал на что-то другое или я заблуждаюсь? Учти, все, что здесь видишь, тебя не касается. Напьемся чаю, и я помашу тебе ручкой.

Чай они пьют молча.

Через некоторое время Балтус встает и подходит к окну. За садами сверкает озеро, за озером виден Шверинский замок. Балтуса, как и всякого, перед кем неожиданно открывается это зрелище, охватывает волнение.

— Вот чудеса, это же настоящая сказка. А попасть туда можно? — спрашивает он.

Моника подливает в чашки чаю и говорит:

— Если хочешь пройти курс дошкольного воспитания, можешь заглядывать туда целых два года каждый день.

— Так ты, значит, будущая воспитательница, — говорит Балтус, и слова его звучат так, будто он хочет сказать: об этом я с первого взгляда догадался.

— Мимо, — говорит Моника, — я уже воспитательница, вот уже год. — И ответ ее опять звучит как легкая издевка.

Балтус пытается придумать, как бы заставить Монику отнестись к нему менее иронично.

Если так:

— Х-хе, это даже как-то забавно, — говорит он.

— Что же тут забавного? Что ты хочешь этим сказать?

— Да ничего, просто моя берлинская подруга тоже работает воспитательницей.

Моника заинтересованно спрашивает:

— У тебя есть... она действительно настоящая твоя подруга? Вы что, обручены?

— Да я и сам толком не знаю, — говорит Балтус.

— Ну это уж ты врешь.

Балтус погружается в таинственное молчание, что усиливает действие сказанного. Любопытство Моники пробуждено.

— Но послушай, если ты не знаешь, настоящая она тебе подруга или нет, кто же еще может знать?

Балтус приступает к пространному объяснению:

— Мы знакомы с ней с четырнадцати лет. До восьмого класса сидели за одной партой. Я перешел потом в среднюю школу, она после девятого поступила в техникум на факультет дошкольного воспитания. Настоящая подруга? Нет, этого, пожалуй, сказать нельзя, во всяком случае, не в том смысле, какой вкладываешь в это слово ты. Просто мы дружим. Когда у меня возникают какие-нибудь проблемы, я иду к ней, когда проблемы у нее, она идет ко мне, у нас это...

Балтус прерывает свою речь. На лестнице слышны шаги. Через щель между неплотно прикрытой дверью и косяком просовывается маленькая ступня в сандалии. Медленно-медленно дверь отворяется полностью. На пороге стоит стройная худенькая черноволосая девушка, в одной руке — набитая продуктами сетка, в другой — букет цветов.

Она удивленно смотрит на Балтуса.

Моника объясняет ситуацию; указывая на Балтуса, она говорит девушке:

— Он подвез меня от Нойстрелица. Едет к морю, но специально ради меня сделал крюк. За что и заслужил чашку чая. Или нет?

Обращаясь к Балтусу, говорит:

— Это моя подруга Симона, мы с ней живем здесь.

Балтус встает, протягивает девушке руку. Она опускает на пол сумку. Балтус церемонно кланяется и представляется:

— Балтус Прайсман.

Почему он так и остается стоять и словно завороженный смотрит на эту девушку, Балтус сам не знает. Через несколько секунд до него доходит, что, если он так и будет стоять, это может показаться очень уж странным и он окажется в крайне дурацком положении.

2*

Моника уходит в прихожую за еще одной чашкой
— Выпей быстренько с нами чаю, потом уж и побежишь за Ниной, — говорит она Симоне. И повернувшись к Балтусу: — А ты чего стоишь, как автобус на приколе, садись, что ли!

Он приходит в себя и занимает прежнее место. У него даже голова начинает работать:

— Если это неблизко, мы могли бы съездить за малышкой и на мотоцикле... — предлагает он.

— Что вы, не беспокойтесь, я сама управлюсь. — Симона обменивается взглядом с Моникой. Та подмигивает ей. — А вообще-то можно, если это вас не затруднит, конечно. Нина ни разу еще не каталась на мотоцикле, — говорит Симона.

8

А почему бы мне, собственно, не остаться в Шверине? Море от меня никуда не убежит.

Нет, теперь самое время нажать на тормоза, не то... Утром меня оставляет с носом Марина, и я лечу как бешеный на север. В полдень загружаюсь в Нойстрелице Моникой, а теперь вот еду с подругой Моники — Симоной, по улицам Шверина, чтобы забрать из детского сада незнакомую мне пока Нину.

Рассказать кому, так ни за что не поверят, скажут, пригрезилось.

Когда эта Симона появилась на пороге, я сразу понял: она из тех, с кем я могу говорить только на «вы». Такая вот странная со мной штука происходит. Есть люди, с которыми я просто не могу разговаривать на «ты», что-то такое мешает, какой-то непреодолимый психологический барьер. Вот к Монике, скажем, я бы никогда не обратился на «вы», мне и в голову бы не пришло. А с Симоной... Но об этом, пожалуй, не нужно сейчас думать. Есть более важная и более насущная проблема:

на что и где мне склонить сегодня ночью мою усталую главу? Останусь я в Шверине или...

Да, самое время загадать. Что? Как? Как бы!

Я считаю до двадцати, если за это время нам повстречается с правой стороны дороги человек с бородой, значит, остаюсь.

...двенадцать, тридцать — нет, разве в таком районе могут водиться бороды! — шестнадцать, семнадцать — ну ладно, ничего не поделаешь, поеду после детского сада дальше, чудненькая перспектива, съеду на проселочную дорогу, заночую в дупле — восемнадцать, девятнадцать — нет, такого района и вправду, наверно, на целом свете не сыскать, — хоть все глаза прогляди, а бороды не увидеть, такое возможно, пожалуй, только в Сахаре или на Северном полюсе, да, нет бороды, хоть ты умри, эге, а вот этот дедуня на скамеечке, точно, — с бородой, я б ему сейчас национальную премию вручил за ношение бороды в подходящий момент — все, двадцать. Балтус, детка, когда ж ты бросишь свои мальчишеские игры, сказала бы сейчас Марина. Ну и пусть!

— Я не расслышал, повторите, пожалуйста, погромче... Да, следующий перекресток направо, теперь понял. Белое одноэтажное здание с зеленым палисадником.

Убрал газ, выключил передачу, плавно притормозил, во всем виден мастер.

Интересно, однако, сбудется ли мое предсказание? Что-то выйдет сегодня вечером?

9

Балтус ждет возле детского сада. Около него останавливаются и с видом прожженных специалистов рассматривают со всех сторон машину два карапуза.

Балтус наблюдает несколько секунд за ними, потом поднимает сначала одного, потом другого на мотоцикл. Мальчик, сидящий спереди, как бешеный крутит ручку

газа, вдвоем же они гулким ревом изображают шум мотора.

Наконец из детсада выходит Симона с дочкой.

Балтус снимает с мотоцикла обоих малышей и говорит:

— Так, орлы, покатались, а теперь гоните домой.

Мальчишкам развлечение показалось чересчур коротким. Они нехотя отходят, а когда расстояние между ними и Балтусом становится достаточно безопасным, кричат во всю глотку: «Чудачок-дурачок, чурбачок-чудачок, простачок-дурачок» — и бегут во всю прыть прочь.

А к Балтусу успела за это время подойти Нина. Она склоняет набок головку, заглядывает ему в лицо. Это смущает Балтуса.

«Что говорят таким маленьким девочкам, когда они пристально тебя разглядывают?» — думает он.

— Ну что же, обуздаем нашего доброго коня, юная леди, — говорит он бодрым голосом.

Его призыв производит слабое действие. Нина прищуривает глаза, лоб прорезают крохотные морщинки, похоже, она соображает: а где же тут конь? И что такое леди?

Но вот уже Нина сидит между Балтусом и Симоной, и они едут по городу.

Так осторожно он никогда еще не ездил. Нина крепко держится за его пуловер.

У продовольственного магазина, что около железнодорожного вокзала, он останавливается.

— Вы не составите мне компанию, хочу купить коечто из мелочи, но очень быстро? — спрашивает он.

Чего ему, собственно, нужно, он и сам пока толком не знает. Тем не менее корзинка наполняется: две бутылки красного вина, продолговатый батон, сигареты, банка рыбных консервов, печенье и коллекция леденцов для Нины.

Еще до того, как они подошли к кассе, он замечает, что взгляд Симоны выражает отчуждение. Ему стано-

вится ясно, что она думает о том, где это он собрался отмечать праздник, к которому так основательно готовится.

Черт, наверно, она догадывается, что я не прочь задержаться у них на сегодняшнюю ночь, а может, и подольше. Действительно ли он этого хочет? Или вовсе не хочет?

— Я всегда так безумно много всего закупаю, — говорит он, — ведь никогда не знаешь, на что рассчитывать; может быть, я устрою себе праздник в диком поле в стогу сена, если отправлюсь дальше на север. «Детский лепет, — думает Балтус, — лепет, лепет».

— Ах вот как, — говорит Симона.

Нина косится на леденцы.

— Они, конечно, все для тебя, Нина, все для тебя одной.

Когда они уже стоят у калитки, он говорит:

— Собственно, можно и не выключать мотор, снесу быстренько свои вещи вниз да поеду, в конце концов я бы не хотел портить вам вечер.

Он ждет, что скажет Симона. К примеру: но на ужин-то, надеюсь, еще останетесь? Или: что же вы думаете, мы выкинем вас на ночь глядя на улицу?

Напрасно ждет Балтус. Симона молчит.

Тем не менее он вытаскивает ключ зажигания и идет с сумкой за Симоной и Ниной.

Через полчаса они сидят за ужином. Балтус сооружает вокруг тарелки Нины кольцо из леденцов.

— Может, ты все-таки поешь, Нина? — спрашивает Симона.

— Нет! — решительно отвечает Нина.

Балтус невольно улыбается.

— Послушай, я знаю одну чудную-пречудную застольную игру, когда в нее играют, тарелка с едой сразу пустеет... Ты знаешь названия птиц?

— Птиц я всех знаю и названия тоже, — серьезно отвечает Нина.

— Каких, например?

— Ну, воробей.

Балтус берет ложечкой салат с тарелки Нины и описывает круг у своего рта.

— Это воробей, ему бы в рот попасть скорей, ну, открывай же быстро рот, чтобы он мог влететь.

И Нина открывает рот.

За воробьем следуют дрозд обыкновенный, дрозд черный, зяблик, скворец, но после вороны девочка почему-то больше не может вспомнить ни одного названия.

На тарелке у нее осталась самая малость. Она доедает салат добровольно за здоровье мамы, Моники и тети Бреденфельде.

После того как тарелка опустела, Нина требует: «А теперь, дяденька, твой черед!»

Балтус отрезает себе кусочек бутерброда.

Симона наблюдала за Балтусом с явным и всевозрастающим интересом. Зато у Моники прямо-таки на лице написано, что ей было б куда приятней, если б он давно укатил на свой север.

— Так, Нина, а теперь тебе пора в постель, — говорит Симона.

— А я совсем даже не хочу, на улице еще светло, я нисколечко не хочу спать!

Нина смотрит на Балтуса, как бы моля о поддержке. Он берет гитару, настраивает ее и говорит Нине:

— Если ты будешь умненькой-благоразумненькой, хорошенько умоешься и ляжешь в постель... то... — Он проигрывает начало песенки о Песочном Человечке.

Нина позволяет увести себя в прихожую к умывальнику.

— А ты случаем сам не работаешь в детском саду воспитателем? — спрашивает Балтуса Моника. Вероятно, она вкладывала в свои слова и иронию, но, кроме нее, в них звучит еще и признание.

Пока Балтус, сидя возле Нины, поет детские песенки, девушки шепотом беседуют.

— Боюсь, мы от него не отделаемся, но и здесь оставлять его нельзя, — говорит Моника.

— Чудак, конечно, но Нине нравится.

— Симона, такое говорят, когда...

— Что ты мелешь, по мне, так пусть хоть сию минуту катит отсюда. И вообще, кто его в дом привел, ты или я?

— Ну ладно, нечего на меня бросаться... Собственно, теперь-то ведь уже как-то неудобно взять вот так и на улицу выставить, хотя бы из-за Нины. — В ее словах звучит ирония.

Поэтому Симона отвечает подчеркнуто безразличным тоном:

— Мне совершенно все равно, поступай как сочтешь нужным.

— Схожу, пожалуй, вниз, к Берте Марии, спрошу у нее...

Когда Моника вышла из комнаты, Симона становится так, чтобы можно было видеть Балтуса. Он поет все тише и тише, наконец совсем замолкает, осторожно поднимается. Симона садится на место и начинает листать журнал. Балтус выходит на цыпочках из-за шкафа, прикладывает палец к губам.

— Заснула, — шепчет он.

Симона откладывает журнал в сторону и указывает на кресло. Он садится и опускает гитару на пол. Молчание. За открытым окном щебечут птицы. С озера слышны голоса. Это делает молчание между ними еще глубже, слышней. Симона рассматривает корешки книг на полке, будто впервые видит их.

Балтус с таким жадным интересом смотрит в окно, словно на его глазах разыгрывается некая мировая драма. И думает: «А ведь я ей, наверно, должен показаться недотепой, почему я не могу сказать хоть что-нибудь, просто пошутить или завести какой-нибудь легкий разговор?» Ничего не приходит ему в голову. А то, что вдруг мелькнет в его крошечных серых клеточках, с че-

го вроде можно начать, он сразу же отбрасывает, потому что оно кажется ему либо бредом, либо чушью.

Наконец возвращается Моника.

— Боже, какая живая беседа! — Она хихикает и ставит на стол бутылку красного вина.

Ловкими проворными движениями ставит три бокала, зажигает толстую свечу, высыпает печенье в хрустальную вазу. Балтусу протягивает бутылку и штопор.

— Открой. Между прочим, я видела тебя и более разговорчивым, например, сегодня днем.

— Надо же. — Балтус краснеет как рак. Он ставит на стол откупоренную бутылку. Моника включает радиоприемник. Симона наполняет бокалы.

— Да выключи ты его, ведь он может нам и на гитаре сыграть, — говорит она Монике.

— А Нина не проснется? — спрашивает Балтус.

Моника выключает радио.

— Если не будешь быком реветь, не проснется, у маленьких детей крепкий сон, во всяком случае, Нина у нас спит как сурок, — говорит Моника.

Между тем стемнело. Свет свечи отражается в бокалах рубиново-красными отблесками. Балтусу не вполне ясна ситуация. Не пора ли ему встать и распрощаться? И не это ли недвусмысленно давали ему еще недавно понять обе девушки, каждая на свой манер? И почему он не уехал сразу после обеда?

А теперь вино, свеча на столе, и играть еще просят! Что ж, играть так играть. Он берет гитару, трогает струны, но мелодии пока нет. Он закрывает глаза, пальцы мягко бегают по струнам, действительность исчезает.

...Длинный коридор больницы дверь с дощечкой — пр. д-р Биррхан, кухня Марины, поединок на гитаре с Гарри..

— Скажи кто ты, собственно, чем занимаешься, по-

мимо того, что развозишь по домам девушек, которых встречаешь на бензозаправочных станциях? — спрашивает Моника.

— Ничем, — отвечает он и подтверждает свои слова резким аккордом. — Ничем не занимаюсь!

— И такое возможно при социализме? Нет, ты уж объясни нам доходчиво, а то мы что-то тебя не понимаем.

— Дак с удовольствием, даже с музыкальным сопровождением, если будет позволено. — Он принимает театральную позу. — Итак: биография, характерная для нашего времени. Аттестат с отличием, заявление о приеме на медицинский факультет, разумеется, большой конкурс, отказ. Ясно, что кого-то приняли по недоразумению, а это значит — не приняли меня. И вот: второй Луи Пастер, новый Фердинанд Зауэрбах, а может, даже еще один Альберт Швейцер пропадает, неведомый миру. Ну как, доходчиво объяснил? — Он заканчивает резким аккордом.

— И теперь наступил конец света, да? — говорит Моника. — Так и хочется прослезиться. И никакой иной профессии, кроме профессии врача, для тебя, естественно, не существует? Мне в свое время жутко хотелось стать актрисой...

Балтус не дает ей договорить. Ее ироничная манера выводит его из себя.

— Оставь свои нравоучения, все их знаю наперед, ничего нового выдумать не сможешь, а все старые мне знакомы, — резко говорит он и чуть сдержанней продолжает: — Разумеется, можно заняться и еще чем-либо, но мне хочется стать врачом.

— И почему бы не стать, то, что отказали, это еще не конец. Ты еще не думал, может, есть какие-нибудь другие возможности поступить учиться? — спрашивает Симона.

Из всего сказанного в сознании Балтуса застревает только «ты». Ты, сказала она. И таким проникновен-

ным голосом. Это производит на него ужасно благостное действие.

— Может, сыграешь нам настоящую песню? — спрашивает она.

А Моника говорит:

— Тогда, может, отведаем сначала нашего вина, или ты перепутаешь струны, если выпьешь бокал?

Они чокаются. Балтус берет гитару, наигрывает одну, другую мелодию, никак не может решить, что же играть. Отпивает глоток и спрашивает:

— Может быть, у дам есть какие-либо особые желания?

— Играй хоть что-нибудь. Мне, например, нравится Лакоми. Ты что-нибудь знаешь из его вещей? — Симона подливает Балтусу вина.

Теперь петь? Нет, дурачком он казаться не желает.

Сперва он сыграет им блюз. Обе девушки сидят на одной кушетке близко друг к другу и настороженно слушают. Балтус смотрит на них обеих. Симона прислонилась спиной к стене и тихо вторит мелодии. Моника сидит, уткнувшись подбородком в колени.

Балтус мало-помалу обретает нужное настроение, он поет...

Стоит в Нью-Орлеане дом,
Стоит вдали от счастья...

Дома у него есть пластинка «Америкэн Фок Блюз Фестивал». Любимая песня с этой пластинки называется «Нет лучше ночи ничего». Теперь ее очередь. Пропуски в тексте он заполнит свистом. Он настолько ушел в музыку, что его воображение рисует реальность в исключительно выгодных для него красках.

Девушки хихикают, он, грезится ему, сидит между ними. Моника целует его в левую щеку, Симона протягивает к его губам свой бокал, он пьет.

Пока комнату наполняет блюз, его фантазия выходит на новый вираж: кушетки сдвинуты вместе, он ле-

жит между девушками, они ласкают его, начинают раздеваться...

Прежде чем Балтус успевает насладиться этой грезой, в дверь стучат. Не в ритме блюза. Моника встает и открывает дверь. Балтус слышит голос старой дамы.

— Вот, Моника, я ставлю тут, возле двери. Я еще два одеяла положила, чтобы молодой человек не замерз. Ну все, спокойной ночи.

Балтус еще не успевает сообразить, что это значит, а Моника уже вернулась, присела на подлокотник кресла и теперь объявляет медовым голосом:

— Мы решили не выставлять тебя на холод и ветер, к тому же в черную ночь. Ты можешь переночевать у нас.

Балтусу не удается скрыть удивление.

— Здесь, у вас? — недоверчиво спрашивает он, и его взгляд останавливается на кушетках.

— Прямо над нами, — говорит Моника и указывает пальцем на потолок.

Чего только не принесет тебе день, стоит только нарушить привычный жизненный ритм, просто отправиться в путь без определенной цели, отдать себя на волю случая!

Балтус ворочается на старой, очевидно, походной кровати, чтобы найти такое положение, при котором в ребра не впивались бы поперечные перекладины. Но вот, кажется, он улегся-таки достаточно удобно, теперь можно и оглядеться.

Чердак завален всяким хламом: старая ванна, запыленный рояль, куча старых дырявых матрацев, обломки рам, одна даже с картиной «Битва под Седаном», из-под нее выглядывает старомодная, на высоких колесах детская коляска, из которой торчит ржавое детское ружье, сломанный лук, рукоять сабли. На давно не чищенной печной трубе висит пробковый шлем, во-

круг в беспорядке громоздятся какие-то лари, ящики, коробки — все это освещено тусклой лампочкой, свисающей с поперечной балки.

Встать, что ли, да заглянуть в таинственные лари, сундуки и коробки, перехватить пыльную сабельную рукоять твердой рукой?

Балтус осторожно, точно боится спугнуть зверя, меняет положение. Деревянные части походной солдатской кровати ужасно скрипят, а металлические — повизгивают. И все-таки Балтус слышит, как скрипят половицы лесенки, ведущей к нему на чердак. В дверь тихонько стучат.

Медленно, очень медленно открывается дверь.

«Моника или Симона?» — спрашивает себя Балтус. Он приподнимается, застывает, полный ожидания.

В приоткрытой двери показываются одна за другой головы обеих девушек.

— Мы хотим пожелать тебе действительно спокойной ночи, — говорят они в один голос, выключают тусклую лампочку и хихикают. Дверь закрывается. Слышно, как по ступенькам шлепают босые ступни. Шаги удаляются, стихают.

Балтус валится на спину с такой силой, что чуть не ломает старую кровать.

Сквозь матовое стекло чердачного оконца, прямо над его головой, проникает матовый свет летней ночи.

10

Здесь, похоже, мне всю ночь не придется глаз сомкнуть. Эта походная кровать в раннее средневековье служила, вероятно, чем-то вроде орудия пытки.

Почему я сразу не уехал? Но куда, собственно? Кто меня где ждет? Что я где потерял? Что же тогда толковать? Ничего нигде не потеряю, если уеду завтра. Эта Моника. В общем-то ничего девочка, не сказал бы

только, что очень деликатная. А Симона из другого теста. Больно уж серьезная, но это... Что ж с того? Интересно знать, где отец Нины. Трудно представить, чтобы сыскался парень, который бросил такую девушку, как Симона, с таким прелестным ребенком, как Нина.

Они обе, наверно, облегченно вздохнут, когда я завтра наконец уеду. Два-три дня еще поболтают обо мне, а потом... потом будут вспоминать о Балтусе Светлячке не иначе как только с язвительным смешком. А может, и вовсе не будут.

Неужели мне не о чем больше думать, как только о том, какое впечатление останется обо мне у девушек? Разве из Берлина я уехал не для того, чтобы в полном уединении составить новые планы на мое грандиозное будущее?

Не позже, чем через месяц, необходимо сделать выбор!

Пойду ли тернистой дорогой, чтобы в конце ее получить диплом врача? Буду ли санитаром, год, два?

Или приму предложение Гарри, стану загребать деньги лопатой, музыка ведь, если разобраться, и удовольствие приносит.

Или есть что-нибудь еще, неизвестное мне, о чем я никогда не думал, о чем я даже не догадываюсь? Ну, парень, положение глупейшее. Как в какой-нибудь современной пьесе. Вот так сцена: лежу на заброшенном чердаке среди никому не нужной рухляди и изображаю Гамлета. Балтус вопрошает Балтуса же. Ответ знает лишь ветер. Эти слова надо бы записать, звучат чертовски афористично. Писатели теперь все очень похожи на папочку. Повесть была б уже в кармане. И не высосанная из пальца, нет, а сочиненная самой жизнью.

Кратко ее можно было б изложить так.

Начало — конец десятого класса, летние каникулы. Вместе с Гейнцом и Олафом я проводил их в молодежном лагере на Плауэр Зее. К тому времени для нас

все было ясно, в том числе и для меня. Надежное, безоблачное, прекрасное будущее. И в голову не приходило, что могут встретиться какие-либо трудности. Однажды вечером меня осенила грандиозная идея. И вот мы опустились на колени у лагерного костра, поклялись на крови в вечной братской дружбе и заключили по моей инициативе договор: ровно через четырнадцать лет встретиться — тогда нам будет уже по тридцать — в той точке земли, где пересекаются двадцатая долгота и двадцатая широта, я точно не знаю даже, где это, собственно. Вроде где-то в пустыне, недалеко от Тимбукту. Так вот, там-то мы, значит, собирались встретиться. Каждый должен был к тому времени стать специалистом в какой-нибудь области. Гейнц — инженером-автодорожником, Олаф — учителем, а я — врачом. Встретившись же, мы планировали отправиться в какую-нибудь африканскую страну и предложить там свои неоценимые услуги. Бесплатно, разумеется, в порядке солидарности. Ну чем не готовая повесть? Мне кажется, почти что готовая, до готовой самую малость только не дотягивает.

Гейнц и Олаф сделали в направлении точки, определяемой координатами двадцатой долготы и двадцатой широты, первые шаги. Оба сразу после армии начнут учиться в институте.

А я? Даже в армию меня не взяли. Дали «белый» билет из-за желтухи, которой я болел в двенадцатом классе.

Что ж, мне встретиться с ними в 1988 году 14 августа с гитарой под мышкой, в качестве бывшей звезды поп-музыки конца семидесятых годов?

Умнее — быть может, иначе это называется «реалистичней», — чем тогда у лагерного костра, я к настоящему времени, несомненно, стал. Цель моя теперь не близ Тимбукту, отнюдь, а скорей где-то в центральной или северной части мекленбургского округа, в какой-нибудь сельской амбулатории или вроде того.

Но как попаду я в Мекленбург после Тимбукту?

Уже начали петь птицы, а моя спина, наверное, вся в синяках и кровоподтеках на этой походной кровати.

11

Кто останавливается на следующее утро перед воротами детского сада?

Балтус привез Симону и Нину. Пока Симона отводит девочку, он высматривает в зеркальце заднего вида следы бессонной ночи на своем лице. И находит их!

Симона быстрым шагом выходит из детского сада.

— Садись, довезу тебя напоследок до больницы. Так сказать, выражу свою благодарность за предоставление мне на ночь крыши над головой. В конце концов могло ведь быть и хуже, скажем, кровать с гвоздями или усыпанная битым стеклом.

— Я и на трамвае успею.

— Не валяй дурака, садись.

Симона покорно садится позади Балтуса. Не проходит и пяти минут, как они уже у больницы. Симона подает руку Балтусу.

— Ну, до свидания, ты ведь уезжаешь.

Ее голос дрожит, так, во всяком случае, Балтусу кажется. Он крепко жмет ее руку.

— Так ведь надо, или...

Симона высвобождает свою руку и, уже повернувшись, чтобы уйти, говорит:

— Не останавливай бегущих, говаривал мой дед. — Она исчезает за дверью-вертушкой.

Балтус едет назад к дому. Заберет свои вещи и исчезнет. Куда? Бог знает. Курс — на север.

На столе записка. Моники нигде не видно. Он читает:

«Твои вещи на кухне около умывальника. Я уехала снова на несколько дней. Так что будь здоров. Доброго пути и приятного отдыха на Балтийском море... Мони».

Балтус забирает вещи и идет вниз.

Когда он проходит мимо двери фрау фон Бреденфельде, старая дама выходит в коридор.

— Доброе утро, молодой человек. Ах, вы уже уезжаете? Жаль, очень жаль. Ваша кузина мне не говорила. Очень жаль.

Балтус не подает вида, что удивлен. Тем, что у него объявилась кузина. «Надеюсь, она не спросит меня, кто из них доводится мне кузиной. Вообще-то не страшно, она и так знает», — думает Балтус.

— Я еду дальше на север, здесь я просто сделал краткую остановку.

— А то у меня живая изгородь, знаете, совсем заросла, под силу только мужчине, но если вы так спешите, не стану вас задерживать.

Балтус кладет вещички в дальний угол прихожей и снимает куртку.

— Ну так, чтоб не было времени подстричь кусты, я, конечно, не спешу, да, настолько, конечно, действительно не спешу.

Балтус прикидывает, что ему потребуется максимум час.

Кусты окружают дом с четырех сторон, и, вероятно, их не приводили в порядок столько же времени, сколько стоит на чердаке походная кровать. Через час ладони Балтуса сплошь в волдырях, а ведь он не управился и с половиной фронтальной части, остальные кусты и выше и гуще.

«Ну, не а в авантюру ли я ввязался? — спрашивает себя Балтус. — То, что я собирался сделать за час, может занять человека на целую жизнь по меньшей мере».

Обедает он в комфортабельной комнате фрау фон Бреденфельде. Густой брюквенный суп в тарелке мейсенского фарфора, серебряная ложка. Балтус поражен. Не столько брюквенным супом, сколько мебелью и вообще внутренним убранством. У любителя старины го-

лова пошла бы кругом. Но тому, кто решил бы купить все это, следовало бы забрать впридачу и хозяйку, считает Балтус: без нее вещи были бы никчемным старым хламом.

Балтус ел, старая дама смотрела на него, но не проронила, однако, ни слова.

После обеда Балтус снова принимается за работу. Вскоре кожа на ладонях так вздувается, что лопается, стоит ему чуть пошевелить пальцами. Он не сдается и мало-помалу теряет чувство времени и способность ощущать боль.

Наконец Балтус добирается до конца первой боковой стороны. Еще две! Всего-то! Да, всего-то! Он бросает взгляд на часы: без двадцати четыре.

Балтус швыряет ножницы в траву, умывается из шланга. Он направляет холодную струю на окровавленные ладони, холод притупляет боль — боже, какое блаженство! Потом быстро натягивает рубашку и почти бежит к мотоциклу. Часы у входа в больницу показывают, что до четырех осталось четыре минуты. Балтус ставит мотоцикл так, чтобы легко было наблюдать за дверью. Появляется Симона. Она тоже замечает его сразу, но вовсе не собирается идти в его сторону. Будто не видя его вовсе, она направляется к трамвайной остановке.

К такому повороту событий Балтус не готов. Он медленно трогается, едет рядом с Симоной. Совершенно никакой реакции. Этого выдержать он не в состоянии.

— Если ты думаешь, я специально так рассчитал, чтобы к этому времени еще не уехать, то глубоко ошибаешься. Я давно был бы у моря, но ваша графиня упекла меня стричь свою, то есть вашу, живую изгородь. Не успел я и глазом моргнуть, как было уже четыре, вот я и подумал...

Симона идет все ближе и ближе к краю тротуара и наконец поворачивается к Балтусу. Тут он видит, что

ей, вероятно, давно уже с трудом удается сохранять серьезность и суровость.

— Как же я могу сесть на мотоцикл, если ты не соизволишь остановиться?

Балтус нажимает на тормоз.

— К детсаду? — спрашивает он, прежде чем включить скорость.

Симона кивает.

Фрау фон Бреденфельде сидит на ступеньках и чистит зеленые бобы. Она улыбается Симоне и Балтусу, несущему на плечах Нину.

— Такой старательный молодой человек, ваш кузен, фройляйн Симона. Такой старательный, просто, знаете, на редкость. Вы только посмотрите! — И обращается к Балтусу: — Сегодня вы, молодой человек, никуда уж, наверное, не поедете? Кровать ваша по-прежнему стоит на чердаке, так что сегодня вы лучше отдохните, а завтра уж и поедете.

Ну что сказать ей в ответ? Что может сказать Симона, коль скоро сама графиня дает такой совет?

«Ах, хитра, бабуля, ах, хитра, — думает Балтус, — кустарник-то ведь не весь подстрижен». И все-таки он предоставляет окончательное решение Симоне. Даст понять, что ему следует уехать — он уедет; не скажет ничего — останется. Он-то знает, какой бы из вариантов предпочел.

Симона не говорит ни слова.

Итак, чему быть, того не миновать. Или?..

Нина давно спит, Балтус и Симона идут по замковому парку, мимо аккуратных цветочных клумб, мимо скамеек с парочками.

Решают заглянуть в летний ресторан, чтобы что-нибудь выпить. Ресторан уже закрыт. Они молча идут

дальше. Где-то впереди, на берегу озера, в тростнике дают ночной концерт лягушки. Балтус ощущает совершенно новое для него чувство, про которое он не может даже определенно сказать, приятно ли оно или наоборот.

Он рад, что пока они идут, между ними существует дистанция; с другой стороны, он все время ощущает ее близость. Он явно взволнован. Ему хотелось бы больше знать о ней, может быть, даже все.

Балтус прикидывает, о чем заговорить. Нельзя же молчать так, словно он немой. Он точно натянутая струна. Будь он с Моникой, такой проблемы не возникло бы. А, может, между Симоной и ним произошло что-то такое, что стало между ними, как-то все усложнило? «Почему я не могу просто поговорить с Симоной на какую-нибудь тему, просто поболтать, почему?»

— Кто это насвистел вашей голубокровой бабусе, что я твой кузен, — спрашивает Балтус и щелчком выбивает из пачки сигарету.

— Не я, Мони.

— А уехала она сегодня действительно по делу?

— У тебя воображение разыгралось. Ведь и я могла бы тебя спросить, не сговорились ли вы с бабусей Бреденфельде.

— Я совсем не в том смысле, — спешит поправиться Балтус.

— В каком же?

— Думаешь, что специально сегодня не уехал?

— Тебе что, очень важно знать, что я думаю?

— Важно, важно!.. Что значит важно? Не сам же я ринулся стричь кусты?

— Для тебя очень важно уехать обязательно завтра?

Вопрос ошарашивает Балтуса. Не столько сам вопрос, пожалуй, а что-то такое в тоне, каким он был задан, ему даже как бы послышалось: останься, пожалуйста.

Хотя он, может, и сильно ошибается. Может, это ему только почудилось. Может, это «останься, пожалуйста» он сам придумал, потому что очень хотел услышать от нее именно это? Балтус медлил, он еще не ответил на вопрос, он по-соломоновски мудро говорит:

— Порой кажется, ну вот это или то важно. А важно все! К сожалению, я редко когда твердо знаю, что вернее, нужнее, правильнее.

— Так завтра уезжаешь? — с неумолимой прямотой снова спрашивает Симона. Хитроумный ответ Балтуса не произвел на нее ни малейшего впечатления. Во всяком случае, так кажется.

— У тебя есть лучшие варианты?

— Не исключено.

— Какие же?

— Потом.

Они обходят замок вокруг. Дистанция между ними сократилась. Иногда их руки как бы невзначай соприкасаются. Когда это произошло первый раз, оба резко отдернули руки. Когда в третий или четвертый раз, Балтус берет ее за запястье, не отпускает. Она не сопротивляется.

Так идут они домой, и только у калитки Балтус мягко отпускает ее руку. На цыпочках проходят в комнату, чтобы не разбудить Нину. Симона включает настольную лампу и опускается в кресло. Балтус садится напротив на кушетку.

Пока Симона так и не ответила на его вопрос. Балтус напоминает:

— Так что это за лучший вариант?

— Уже забыла.

— Правда?

— Нет.

— Тогда скажи.

— Ну, так и быть! Ты мог бы поработать у нас в больнице. Неделю или две.

— Ты считаешь, это возможно?

— Почему же нет? У нас сейчас работает много абитуриентов. И, представь себе, почти все фантазеры...

— Я для тебя тоже, наверное, фантазер, потому что обязательно хочу стать врачом?

— Может, и так.

Нина что-то бормочет во сне и беспокойно ворочается. Симона встает и идет за шкаф.

Балтус подвигается ближе к середине кушетки, в очередной раз загадывает: «Если она, когда вернется, сядет не в кресло, а ко мне на кушетку, тогда...»

Симона выходит из-за шкафа. На мгновение останавливается как бы в нерешительности. Балтус весь в напряжении.

— Мне кажется, у нас осталось еще немного вина. Хочешь?

Он кивает, у него пересохло в горле, кажется, будто он целые сутки ничего не пил.

Она уходит за бутылкой и бокалами. Пока ее нет, Балтус еще чуть-чуть подвигается поближе к креслу. Так больше шансов, что она все-таки сядет на кушетку.

Куда она сядет? На кушетку или в кресло?

Она возвращается, поровну разливает оставшееся вино по бокалам, идет к креслу и садится на край кушетки. Садится так, что между Балтусом и ею остается еще так много свободного пространства, что там могла бы поместиться толстенная тетка.

— Расскажи мне об отце Нины.

— Зачем?

— Ну, так, интересно... Почему вы не поженились.

— Он хотел, а я нет. — Она отпивает из бокала.

— Ах, так.

— Странно, да?

— Да как сказать.

Балтус тянется к своему бокалу и сокращает как бы невзначай расстояние, разделяющее их.

— Как это ни тривиально, может быть, звучит, но была действительно великая любовь, во всяком случае,

с моей стороны. Он был первой бит-звездой Шверина и всего округа, играл здесь в лучшей группе. За ним все девчонки бегали. Когда он стал дружить со мной, я радовалась, как Снежная королева. Я считала, что мне привалило великое счастье. Так продолжалось некоторое время. Но все вдруг изменилось, когда я забеременела. Я уже не могла ездить все время с группой, а у него каждый вечер появлялась новая подруга. Сначала я в это не хотела верить, но потом он очень долго просто не приходил. А потом несколько раз я видела его с разными девушками. И я поставила точку. Я, не он. Это была не ревность, нет, я чувствовала себя обиженной, оскорбленной.

Дома, конечно, было ужасно много крику, ведь мне не было тогда и шестнадцати. Мои родители, да и его тоже, хотели, чтобы мы обручились, потому что считали, из-за ребенка мы позже все равно ведь поженимся. Они считали! А он клялся, что станет другим и что, разумеется, он давно решил на мне жениться, как только мне исполнится восемнадцать. Мой отец уговаривал меня, надо же, мол, все-таки понимать, что молодому барану необходимо «выгуляться» перед семейной жизнью, и лучше до женитьбы, чем потом. Я сказала: нет!

Симона залпом выпивает свое вино.

— А что он делает сейчас?

— Вот уже год как в армии. В первые месяцы писал каждую неделю. Я ответила только на первое письмо, сообщила ему, что между нами все кончено. Все письма, которые приходили после, я выкидывала не читая. Дома каждый день с утра до вечера меня пилили, пилили. И я уехала. С тех пор живу у Моники. Если повезет, то через три-четыре месяца получу маленькую квартиру.

Балтус уже не сокращает расстояние между собой и Симоной.

Покуда она рассказывала, он чувствовал, как тает

между ними дистанция, не та, что измеряется сантиметрами, а внутренняя.

— А ты всерьез говорила, что я мог бы поработать у вас в больнице?

— Если ты действительно хочешь, можно устроить. Я поговорю завтра с нашим начальником отдела кадров. Ты можешь встретить меня в десять часов, я скажу тебе, каков результат. Согласен?

Еще бы он не был согласен.

Симона убирает со стола.

Еще час назад Балтус совершенно иначе представлял себе этот вечер.

Он прощается и идет наверх в свой неудобный ночной лагерь.

12

О, если б человек заранее знал, верно он поступает или делает ошибку.

Что, если завтра все пойдет удачно и я смогу работать в больнице? С одной стороны, это весьма полезно, мне действительно интересно посмотреть, как функционирует больница.

С другой стороны — Симона. Что же получится, если я останусь в Шверине еще на две недели?

Оставить ли все на волю случая или еще раз загадать? Ну, скажем, так.

Сам я вообще не принимаю никакого решения, жду завтра до десяти утра, скажет она — да, тебя берут, значит, все уладится и между нами. Все так просто. Тут я снова себя поймал. Мне так трудно принимать решения, что всякий раз, когда необходимо что-то решить, я тяну и тяну. Другие поступают в таких случаях иначе, они знают, чего хотят. Аксель Шефер, например. Пришел к нам в класс с очень слабенькими знаниями и соответственно средненькими оценками. Он

утверждал, что хочет стать военным, во всяком случае, так он писал во всех анкетах и говорил об этом направо и налево. А когда подошло время, заявил, что хочет стать учителем. И так вот бывает. Я, конечно, могу считать это подлостью, но это ничего не меняет, ведь успех оправдывает средства.

Но кем стать мне, кем?

Врачом? О, прекрасная мечта!

Гитаристом? О, скорый путь к деньгам и славе!

Обе профессии стоящие. Путь к одной из них тернист, неровен, без гарантий, худо вымощен, но в конце его — Тимбукту, сельская амбулатория, быть может, в мекленбургском округе. Другой путь легче, приятней, вымощен серебром и хрустящими купюрами, обещает скорое превращение из пешехода в водителя «Жигулей». Почему я не решусь сделать выбор сейчас, здесь, на этой походной кровати? Ну, смелей!

Если исходить лишь из материальных соображений, то выбор совершенно однозначен: ансамбль Гарри!

Но от чего бы отказался я в таком случае?

От всего, о чем мечтал последние годы, от всего, ради чего корпел над учебниками, от своего намерения сражаться с болезнями и смертью.

Все это променять на деньги и машину? Этому Балтусу, который взглянет на меня спустя годы утром из зеркала, как взгляну я ему в глаза? Что же тогда заставляет меня принять сейчас решение?

Завтра в десять...

Нет, загадывать не буду, к черту эту дурацкую игру. Поработаю в больнице, посмотрю, послушаю, что там и как. Потом съезжу к Балтийскому морю, посмотрю, послушаю ансамбль Гарри... Ну а уже потом взвешу все «за» и «против» и приму окончательное решение.

А может быть, существует еще какая-нибудь иная возможность, о которой я пока даже не подозреваю?

13

Как изменчива жизнь, вчера еще никто, сегодня — санитар. Какая блестящая и молниеносная карьера. Вчера он собирал грязное белье. С тележкой проезжал по всем отделениям, складывал на нее постельное белье и отвозил в прачечную. Сегодня он выполняет обязанности санитара в отделении внутренних болезней. Вчера вечером Симона спросила, как ему понравилось в первый день. Криками восторга он не разразился. Очень уж устал. Давно так не уставал.

— Ничего особенного? — не отставала Симона.

— Ничего, хотя, может, вот что: видел в парке девочку лет двенадцати в кресле-каталке. Она показалась мне совершенно апатичной, безжизненной какой-то. Я проезжал мимо нее со своей тележкой раз пять или шесть и всякий раз, когда проезжал, подмигивал, но реакции никакой. Тогда я с ней заговорил, спросил, не отвезти ли ее в тень. И опять она ни слова, молчит, и все.

Сегодня Балтус уже второй раз дежурит в отделении.

Развозил по палатам еду, потом собирал и мыл посуду. Теперь может с полчаса передохнуть.

Он идет в парк, садится на скамейку, закуривает. Чуть в стороне, в тени сиреневого куста, он снова видит девочку в каталке. Он собрался погасить сигарету и подойти к девочке, когда увидел, что к ней приближается молодая женщина. Балтус остается сидеть. Женщина целует девочку, говорит ей что-то. Что, Балтус не слышит.

Женщина — вероятно, мать девочки — достает бананы, апельсины, книгу, складывает все это девочке на колени. Девочка ничего не говорит, не делает ни единого движения, она так смотрит в сторону ворот, будто

ждет чьего-то появления. Через некоторое время показывается мужчина с букетом сирени.

Женщина торопливо прощается с ребенком и проходит мимо идущего ей навстречу мужчины с таким видом, будто его не знает.

И сцена повторяется: мужчина целует девочку, складывает ей на колени подарки и цветы, говорит ей что-то. Девочка молчит. Мужчина нервно поглядывает на часы и прощается.

Балтус, наблюдавший все это, чувствует, что на него будто холодным ветром подуло. По пути в отделение он останавливается у куста сирени.

Девочка смотрит на Балтуса огромными печальными глазами. Подарки, лежащие у нее на коленях, она, похоже, вообще не заметила. Балтусу хотелось бы сейчас что-нибудь сделать или сказать, но печаль девочки делает его беспомощным.

— Хочешь, расскажу тебе одну историю, маленькая фея? — спрашивает наконец Балтус. Он чувствует, как лицо его обдало горячей волной. «Как это мне пришло в голову такой большой девочке задать такой дурацкий вопрос?» — думает он.

Девочка безучастно смотрит в сторону. Книга соскальзывает с ее коленей и падает в траву. Балтус поднимает книгу. Подходит медсестра и увозит девочку.

Девочка не выходит у него из головы целый день. Что случилось с ней, спрашивает он себя, нельзя ли что-нибудь сделать, нельзя ли, например...

Балтус относит шприцы и канюли из дежурной комнаты на стерилизацию. На сегодня работа закончена. У него еще есть полчаса до встречи с Симоной.

Он рассказывает дежурной медсестре отделения, дородной энергичной женщине лет под пятьдесят, о девочке в каталке. Спрашивает, не знает ли она, что случилось с девочкой.

— Если это вас интересует, спуститесь этажом ниже, спросите там у врача или дежурной сестры.

У Балтуса возникает ощущение, будто фрау Гизеле не очень-то нравится, что он интересуется вещами, не имеющими прямого касательства к их отделению.

Он неуверенно спрашивает:

— И можно так запросто пойти?

Дружелюбней, чем он мог бы ожидать от нее, она говорит:

— А почему же нет, идите, идите, не стесняйтесь.

Этажом ниже Балтус находит в дежурной комнате молодого врача, который сидит за письменным столом и листает историю болезни. Балтус осведомляется о девочке.

— Вы родственник девочки или близкий знакомый семьи? — интересуется врач.

— Нет, я в настоящее время работаю во втором отделении, в парке видел несколько раз девочку, мне бросилось в глаза, что...

— Это Кристина, предмет заботы всего нашего отделения. У нас она лежит всего неделю, раньше лежала в хирургическом. В автомобильной катастрофе получила тяжелые повреждения. Переломы ног. Но сейчас она уже настолько здорова, что давно могла бы помаленьку пробовать ходить. А проблема для нас заключается в следующем: она не хочет ни с кем даже разговаривать. Как установить с нею контакт, как подобрать ключи к ее хрупкой детской душе, мы пока не знаем.

— И никаких сдвигов?

— Во всяком случае, пока мы таковых не наблюдаем. Мы терпеливо убеждаем ее, пытаемся пробудить ее волю. Но она еще никому из нас не сказала ни слова. Если бы это случилось, можно было б считать, что мы чуть-чуть продвинулись вперед.

— А вы бы не стали возражать, если бы я попробовал разговорить ее? После обеда у меня всегда бывает полчаса свободных, я мог бы...

— Да нет, не стал бы. Только не очень-то верится, что вы добьетесь успеха большего, чем мы.

— Благодарю.

— За что?

Десятью минутами позже Балтус встречается с Симоной. На мотоцикле они едут за Ниной.

Вечером он рассказывает Симоне о девочке и о своей беседе с врачом.

— Что ж, дерзай! Это хорошо, что ты хочешь попробовать.

Она советует ему взять гитару. На всякий случай.

— Нину ты гитарой сразу покорил.

Балтус чувствует себя на седьмом небе. Так редко с ним бывает. Он уже не думает о том, что будет в ближайшие полтора месяца, не думает о выборе, который ему предстоит сделать. Он думает о завтрашнем дне, о девочке по имени Кристина, о том, что вместе с Симоной повезет Нину в детский сад, что потом они снова вместе поедут в больницу, а после дежурства заберут малышку и втроем будут ужинать.

«Прекрасная штука жизнь, — философствует он, — то, что сегодня кажется самой естественной вещью, еще неделю назад показалось бы невероятным».

С какой охотой поделился бы он сейчас этими мыслями с Симоной. Но, может, и она чувствует то же самое, может, ей и не нужно все это говорить?

Одна мысль, время от времени мелькающая где-то глубоко в его сознании, беспокоит его: что будет, если завтра или послезавтра вернется Моника? Ведь она думает, что его здесь давно уже нет.

— Ты не знаешь, когда возвращается Моника? Вряд ли она зальется слезами радости, когда увидит здесь меня.

— Ты не знаешь моей Моники: конечно, она обязательно съязвит, но, что ты работаешь в больнице, понравится ей, в этом я уверена. Насчет Мони можешь не беспокоиться. Лучше набери побольше очков у фрау бабули фон Бреденфельде, достриги ей изгородь.

Как быстро может пролететь утро. Застелить постели, умыть больных, раздать завтрак, унести и вымыть посуду. Балтус, мальчик на побегушках. И все-то делает он с огромным удовольствием. Как быстро может пролететь утро...

Раньше, когда он ходил в школу, бывало иначе. Сидишь, слушаешь, иногда пытаешься вникнуть в объяснение учителя, мечтаешь о чем-нибудь, если урок скучный, например, о Тимбукту и Ламбарене.

Утро кончилось, суета обеденной поры в отделении тоже миновала; у Балтуса перерыв. Он идет в парк и ищет Кристину. Он находит ее на старом месте, рядом с кустом сирени.

— Добрый день, Кристина.

Девочка не отвечает на его приветствие, но Балтус замечает, как в ее глазах на долю секунды промелькнуло что-то вроде удивления. А может, изумления, ведь он обратился к ней как старый знакомый, назвал ее по имени.

— Давай покатаемся немножко по парку? — продолжает он.

Девочка молчит. Он отпускает тормоз и везет каталку к пруду.

— Я расскажу тебе одну историю, Кристина. Хочешь? — Он не ждет от нее ответа. — Жил-был на свете воробушек, он сидел-посиживал со своими братьями и сестрами в гнезде, и все они только и делали, что ждали-поджидали, когда их родители принесут им в клюве червячка или какую-нибудь козявку. Воробушек был очень любопытным, любопытней всех своих братьев и сестер. Он всегда старался протиснуться к самому краю гнезда, чтобы получше рассмотреть, что делается вокруг и особенно внизу. И вот, как и следовало ожидать, вывалился-таки однажды из гнезда.

Балтус замолкает. Девочка оглядывается на него через плечо, в ее взгляде — ожидание.

Он продолжает:

— И вот лежит он, жалобно чирикает под яблоней. Лежит, постанывает от боли, потому что ножки у него вопереломаны. Воробьи-родители еле-еле донесли свое воробьиное чадо до гнезда и вызвали птичьего врача. Врач наложил на ножки нашего воробушка шины, а родители принесли ему самые изысканные сладости, какие только могли найти. Совсем скоро воробушек выздоровел. К этому времени его братья и сестры выучились летать и покинули родное гнездо. Нашему воробышку тоже нужно было научиться летать, да побыстрей, но он очень боялся, и совсем не верил в свои силы. Что, если он не полетит, а снова упадет на землю? Весь взъерошенный, он пугливо сидел на краю гнезда и, как ни уговаривали его родители и птичий врач, никак не мог отважиться взлетать. И вот тогда они втроем взяли его под крылышки и полетели вместе с ним, а потом, в воздухе, отпустили. И — о, чудо! — он полетел, да еще как здорово, он ни за что и никому не поверил бы, если бы ему сказали, что он может так здорово летать. А как мастерски он потом приземлился! На земле он отдохнул, но совсем чуточку, и решил немедля взлететь снова, ведь ему очень хотелось узнать, получится ли у него, когда ему никто не будет помогать. С тех пор прошло время, и он стал настоящим асом, летает даже выше и быстрей голубей.

Пока Балтус рассказывал Кристине историю о воробье, они успели объехать вокруг больницы и теперь снова оказались у куста с сиренью.

— Жаль, — говорит он, — мне уже пора на свою работу, если ты хочешь, завтра я приду снова.

Он уходит, а девочка смотрит ему вслед, пока он не исчезает в здании больницы.

И вторая половина дня проходит очень быстро. Балтус радуется предстоящему вечеру, ведь он проведет его вместе с Симоной и Ниной.

В его жизни не было еще такого вечера, когда бы он так сильно ждал следующего дня, чтобы с такой на-

деждой спешил домой, разве что когда они вместе с отцом разыскивали сокровища.

Пока он занимается однообразной работой на кухне отделения, у него есть время подумать о том о сем. И на что же направлены его мысли? О чем или о ком он думает? Не о Тимбукту, не о Гарри и его ансамбле — все его мысли так или иначе связаны с Симоной.

С ней он о многом может говорить, их мысли и чувства часто совпадают, и все-таки: каждую ночь она спит внизу, а он на чердаке. Чувство Балтуса к Симоне больше, чем дружба. Он восхищается ею, потому что она, как ему кажется, все может преодолеть одна без чьей-либо помощи. Часто он ловит себя на мысли, как хорошо было бы жить всегда, долго-долго, вечно вместе с Симоной и Ниной. Но он не отваживается сказать ей, что ему хотелось бы большего, чем только дружить с нею. Он боится, что навязчивость может испортить то, что теперь связывает их.

Теперь его проблема зовется Симоной.

«Начистоту поговорю с ней, только не завтра и не послезавтра, может быть, в воскресенье», — решает он.

И вновь вторая половина дня, «час Кристины».

Балтус захватил сегодня гитару. Когда он собрался было спрятать гитару в шкаф, в дверях неожиданно появилась дородная Гизела.

— Ага, так вы, значит, намерены дать сегодня концерт? Но сначала, мой милый, освободите и вымойте ночные горшки, нарисуйте график температур, разнесите... Словом, все, как вчера.

Ее тирада показалась ему не очень дружелюбной, и он клянет себя за то, что не оставил гитару внизу у вахтера.

— Хотите сыграть что-нибудь вашей маленькой подруге, когда встретитесь с нею в парке после обеда? Идея, надо признать, неплохая!

После этих слов Гизелы Балтус понял, что злился совершенно напрасно. И время до обеденного перерыва пролетело незаметно. Завтрак, мытье посуды, обед, мытье посуды, графики температур...

Балтус идет в парк, за спиной у него гитара. Кристина сидит в каталке на привычном месте, но каталку свою повернула так, чтобы можно было увидеть, когда появится Балтус. Балтус еще издали приветливо машет ей рукой.

— Догадайся, что я принес с собой?

Девочка наклоняет голову чуть набок, кажется, хочет заглянуть ему за спину. Тогда он одним движением выбрасывает руку с гитарой. Кристина удивлена.

Балтус садится рядом с каталкой на траву. Больные, прогуливающиеся по парку, смотрят на них с явным любопытством.

Балтус поднимается и кладет гитару Кристине на колени.

— Придержи ее чуток, мы заедем с тобой за сирень, а то зрителей чересчур много.

Он наигрывает мелодию, всего несколько тактов, потом спрашивает:

— Тебе это знакомо?

Кристина не отвечает, и Балтус поет:

— Жили на свете принц и принцесса...

Девочка слушает, смотрит, как бегают по струнам его пальцы.

— Ручей был чересчу-ур глу-убо-окий...

Тихо-тихо, едва шевеля губами, девочка напевает вместе с ним.

Сыграв эту песенку, Балтус кладет гитару на траву и спрашивает:

— Еще что-нибудь?

Кристина кивает.

Балтус напряженно думает, не пришла ли минута, когда можно предложить Кристине сделать первый самостоятельный шаг.

«Нет, терпение, друг, терпение, только после того, как она действительно заговорит, я попытаюсь».

Теперь надо бы сыграть еще что-нибудь, но его репертуар для детей возраста Кристины крайне скуден. Песни, которые он поет Нине, он не может предложить вниманию Кристины, они ей будут неинтересны, а модные шлягеры он, к сожалению, почти не знает, в них он несилен, а ведь как раз ими-то, кажется, он и мог бы заинтересовать девочку.

— Яркой звездой в летней ночи...

Он пытается петь в стиле Франка Шёбеля. Но фальшивит до того сильно, что Кристина смеется. «Да, она действительно рассмеялась», — ликует Балтус. И решает повторить трюк, теперь он подражает Томасу Люку:

— Я так охотно пи-та-юсь, пи-та-юсь, пи-та-юсь...

Если двумя минутами раньше девочка смеялась, можно сказать, беззвучно, одними глазами и губами, то теперь она смеется так, что на глаза ей навертываются слезы и она заходится в кашле.

Этому успеху Балтус радуется так, что падает навзничь в траву и тоже заливается смехом. Да, это был настоящий, живой смех, смех радости. Смех значит больше, чем слово. «Вот теперь попробую», — решает Балтус. Он встает.

— Кристина, мне через минуту-две пора идти работать. Завтра я приду снова, а сейчас давай-ка мы с тобой попытаемся сделать вот что... собственно, даже не мы, а ты попробуешь постоять хотя бы секунду одна, я совершенно уверен, что ты сможешь... Ну, смелей...

Он протягивает ей обе руки.

— Давай, давай, я помогу тебе, я буду так крепко тебя держать, что у тебя обязательно получится. Все будет хорошо, только не трусь.

Балтус от волнения весь внутренне подобрался, он

ждет. Он берет ее ладони в свои, она не вырывает их, но они у нее совсем вялые.

— Ну же, смелей, Кристина.

Он чувствует, как напрягается тело девочки. Она крепче и крепче сжимает его запястья, миллиметр за миллиметром ее ступни отделяются от подножки каталки, она ставит их на землю. И осторожно-осторожно выпрямляет тело.

— Да, так, молодец, а теперь выпрями колени и напряги их, вот, отлично, ах, какая молодчина!

Кристина стоит!

Балтус придерживает ее только с одной стороны. Постепенно он отпускает и вторую руку. Он чувствует, как она старается сохранить равновесие.

— А теперь будь внимательна, я отпущу тебя совсем, но ты не бойся, ты не упадешь.

Она не протестует, остается без поддержки и совершенно самостоятельно стоит несколько секунд, несколько долгих секунд!

Балтус видит, каких усилий это ей стоит. Но вот у нее подгибаются колени. Балтус подхватывает ее под руки, бережно, осторожно усаживает в каталку.

— Ну, Кристина-молодчина, видишь, как здорово все вышло, просто по-настоящему здорово, рассказывать об этом никому не будем, пусть это остается нашей с тобой тайной! А завтра мы попробуем еще раз. Хорошо?

И происходит уже второе за этот день чудо.

— Да, — говорит она и смущенно улыбается.

Балтус видит, что у нее подрагивают колени.

И все-таки она заговорила, и разве так важно, что сказала она лишь одно-единственное слово, а, кроме того, в течение нескольких секунд стояла на ногах! Балтус счастлив.

Он бежит наискосок через лужайку к своему отделению, бежит вприпрыжку, как мальчишка.

Да, это счастливый день, действительно счастливый.

Когда он встречается с Симоной у ворот, та сразу замечает, что Балтус в прекрасном настроении, но не спрашивает, почему.

До ужина Балтус снова подстригает кусты фрау фон Бреденфельде под руководством Нины. Она собирает тонкие веточки, складывает их по-разному и утверждает, что это дома, корабли и слоны.

Позже, за ужином, Балтус придумывает и предлагает Нине новую «застольную» игру: он кладет кусочек бутерброда ей в рот, а она — ему.

Симона говорит:

— Когда ты на следующей неделе уедешь от нас, возникнут трудности. Я не обладаю таким воображением, как ты, чтобы придумывать для Нины каждый вечер новую игру.

Пока Нина прожевывает очередной кусочек, Балтус говорит:

— Никаких трудностей не будет, я составлю тебе программу на месяц вперед.

Когда Нина уложена, Балтус предлагает:

— Не выпить ли нам бутылочку вина, как ты думаешь?

— Есть подходящий повод?

Балтус рассказывает, что произошло сегодня в парке с Кристиной, и чувствует, что Симона радуется вместе с ним.

— За это ты действительно заслужил поощрение, если не награду, ну-ка закрой глаза.

Он закрывает глаза и... губы Симоны касаются его щеки. Он берет ее голову в свои ладони и целует в губы. Симона отвечает на его поцелуй, но только мгновение, потом она отворачивается.

— Ну, разве это не счастливый день?!

Да, это по-настоящему счастливый день, пусть в этот вечер второго поцелуя и не было, пусть он, как всегда, отправляется к себе на чердак.

14

Когда я был совсем маленьким мальчиком, мне однажды приснилось, что я летаю. Я действительно летал, как птица, высоко и свободно. Я вспоминаю об этом потому, что после мне еще не раз доводилось видеть этот сон в различных вариантах. Утром, когда я просыпался, во мне еще жило ощущение парения, невесомости — этой изумительной легкости. Впервые я увидел этот сон, вероятно, после того, как мне удалось сделать пять самостоятельных шагов. Наверняка это было так. Пробовал ли я когда-нибудь маленьким мальчиком летать и днем, я не помню, не знаю.

Давно уже я не видел этот сон. Но сегодня, сейчас, когда я лежу на этой походной кровати, меня переполняет то же ощущение, что я испытывал всякий раз после того сна. Может, я летал сегодня? Странно, но так можно думать только про себя, сказать об этом никому нельзя. Во всяком случае, без риска услышать в ответ добрый совет, суть которого сводилась бы к тому, что тебе самое время обратиться к психиатру. Все, кого я близко знаю, мои друзья, отец, мать — кому бы из них ни рассказал я про свои сны, как рассказываю про них сейчас, любой назвал бы меня фантазером, выдумщиком.

Говорить с кем-нибудь обо всем. Возможно ли это? Долгое время таким человеком был для меня мой отец. Теперь он разучился меня слушать. Моя мать вообще никогда не была склонна вести со мной разговоры. Для нее существовали всегда только работа да домашнее хозяйство, все остальное воспринималось ею как нечто такое, что лишь отвлекает ее от основных интересов, то есть было ей в тягость.

Но, может быть, я просто несправедлив? Особенно по отношению к матери. Она всегда была перегружена всякими делами. Диплом специалиста внешней торговли

она получила, окончив заочное отделение, по вечерам сидела над книгами, но всегда уже после того как меня уложит в постель. Воскресенья она вечно проводила на кухне, пока мы с отцом ходили в музей или раскапывали клад. Потом наступила пора командировок. В своей внешторговской конторе она считается безотказной «командировочной». На работе ее очень ценят. Вполне понятно, почему она не могла уделять мне много времени. Да и угрызения совести в связи с этим она вряд ли когда-либо испытывала, в конце концов чем меньше бывала со мной она, тем больше бывал со мной отец, который работал дома. С этой точки зрения прохладные отношения между мной и матерью следует, пожалуй, расценивать как результат планомерного внутрисемейного разделения труда.

Вообще-то я восхищаюсь ею, потому что она способна всецело отдаваться какому-либо делу. И в то же время мне жалко ее, потому что она забывает про все остальное!

С ней я никогда не мог бы говорить о своих проблемах, неважно, что это за проблемы — взаимоотношения ли с девушками, недоразумения с учителями или ситуация, в которой я оказался теперь. После развода она еще глубже ушла в свою работу.

Короче, все обстоит именно так, как оно обстоит... Быть может, вообще нет на свете такого человека, с которым можно было бы говорить или хотелось бы говорить буквально обо всем?!

Симона?

Теперь необходимо быстренько сменить тему, не то я совсем свихнусь. Вчера я заглянул-таки в один из ящиков, беспорядочно наваленных здесь в углу. Обнаружив в нем массу странных книг, как-нибудь вытащу какую-нибудь наугад, как жребий на счастье.

...Портос сделал такой прыжок, что все столы в зале заходили ходуном, как в пляске смерти. Несколько

бутылок покатились по стойке и грохнулись об пол, вино...

Да, были времена, были орлы-ребята: три мушкетера.

15

Ох, уж эта погода! Льет дождь. Льет все утро.

Если дождь не прекратится, Кристины не будет в парке после обеда.

Однако погода образумилась. К обеду тучи изрядно разметало, а временами сквозь них даже прорывалось солнце.

В привычное время Балтус идет в парк.

Девочка нетерпеливо глядит ему навстречу. В ее глазах ожидание. Когда он собирается протянуть ей руку, она опирается обеими руками о подлокотники кресла-каталки, сгибает колени и встает. Стоит, стоит самостоятельно и сияет.

— Ах ты умница, Кристина, да это же просто непостижимо. Как тебе удалось?

Балтус вне себя от радости. Кристина хватает руками подлокотники и медленно сползает в кресло.

— Я упражнялась сегодня ночью, когда все спали, — говорит она.

Еще больше, чем ее самостоятельным попыткам научиться стоять, Балтус радуется тому, что девочка произнесла целую фразу. «Нужно обязательно и немедленно развить успех», — думает он.

— А не попробовать ли нам сделать сейчас несколько шагов, хотя бы два, три?

— Не знаю, наверно, не получится, — сомневается девочка.

Балтус выкатывает кресло-каталку на дорожку. Примерно в трех шагах от ближайшей скамейки останавливается.

— Так, Кристина, сейчас ты снова сама встанешь,

потом обопрешься о меня и перенесешь вес тела с одной ноги на другую, вот и вся задача, я тебя крепко держу.

Она отталкивается и, ища опоры, берет его за запястье. Она стоит. Тело ее качается из стороны в сторону, слева направо, справа налево, словно былинка на ветру.

Оба так сосредоточены, что не замечают, что за ними с интересом и удивлением наблюдают: лечащий врач Кристины, с которым разговаривал Балтус, стоит примерно метрах в пятидесяти от них вместе с одним пациентом. Врач смотрит очень внимательно, хотя старается делать это незаметно.

Балтус чувствует, как напрягается Кристина. Перенос тела с одной ноги на другую стоит ей больших усилий. Он осторожно сажает ее обратно в кресло-каталку. Он тоже устал. Но при этом он испытывает и толику того чувства, что охватывает его обычно после полетов во сне.

— А знаешь, — говорит он Кристине, — я могу летать, да, могу летать.

— Этого никто не может.

Балтус рассказывает ей, как он маленьким мальчиком впервые увидел сон: он летал, и ему кажется, что случилось это, вероятней всего, вечером того дня, когда он сделал первые в своей жизни шаги. И теперь ему иногда снится этот сон. Балтус с волнением ждет, не засмеется ли она.

Самым серьезным тоном Кристина говорит:

— До сих пор я никому еще не рассказывала, но мне тоже несколько раз снились такие сны. И когда я после них просыпалась, я уже не могла точно сказать, действительно ли могу летать или все мне только приснилось.

Балтуса охватывает чувство, которое невозможно описать обычными словами. Чувство это так сильно, что заставляет его проделать настоящий цирковой номер.

— Сейчас я тебе покажу, как настоящий мастер выполняет сальто-мортале, — смеясь, говорит Балтус.

Он делает короткий, но энергичный разбег и два раза подряд действительно делает сальто.

Кристина аплодирует.

Балтус раскланивается, как это делают в цирке клоуны, говорит:

— Дело мастера боится, нельзя мастеру срамиться.

В тот же момент ему вдруг кажется: на постороннего зрителя этот номер мог, вероятно, произвести довольно странное впечатление. Он оглядывается. Слава богу, никого не видно, лишь в самом конце дорожки идет человек в белом халате.

— Ну что, давай попробуем сделать еще несколько шагов?

Снова девочка отталкивается от подлокотников и держится за Балтуса — и отпускает руки.

С большим трудом она ставит вперед на несколько сантиметров одну ногу, затем подтягивает другую, тут у нее подламываются колени, Балтус подхватывает ее.

С красным от напряжения лицом она снова сидит в своем кресле-каталке.

— Ну вот ты и сделала свой первый шаг! Великолепно! Ты давно уже не напрягала свои ноги, поэтому им недостает силы, они еще слабенькие. Завтра мы снова немножко походим. Ты увидишь: получится еще лучше, чем сегодня.

Он прощается с ней и уходит.

В коридоре Балтус случайно встречает врача Кристины.

— Здравствуйте, молодой человек, извините, я тогда во время нашего краткого разговора не спросил вашего имени, — говорит врач и подает ему руку.

— Прайсман, Балтус Прайсман.

— Искренне вас поздравляю, господин Прайсман, я недавно видел вас в парке.

Балтус краснеет как рак: он вспоминает сальто — так его все-таки видели. Он не успевает в полной мере представить, насколько странно он выглядел, так как врач продолжает:

— Насколько я могу судить, вам удалось то, на что нам потребовалось бы очень много времени, не возьмись вы за это дело. Я бы только просил вас на первых порах не очень увлекаться. От долгого отсутствия движения мускулы ног у нее сильно ослабли, а чтобы они окрепли, нужно время. Это я к тому, чтобы вы завтра не стали упражняться в кувыркании. — Он смеется и кладет Балтусу руку на плечо. — Кстати, мне кажется, у вас настоящий талант врача. Я слышал, вы абитуриент, что вы будете изучать?

«Вот так вопрос! В самое яблочко. Будто я могу что-то решать, решают-то за меня», — думает Балтус, и его охватывает что-то вроде ярости.

«Решение принято, обжалованию не подлежит, господин доктор, не знаю что, но не медицину» — эти слова вот-вот сорвутся с языка. Он говорит:

— Ничего не буду я изучать, меня не приняли!

— Ах, вот как!

16

Да, ему пришлось войти в пике.

Да что это я сам себя обманываю, я просто грохнулся оземь! «Что вы будете изучать? — спросил он. И сказал: — У вас настоящий талант врача».

И вся неделя работы в больнице сразу была словно стерта. Да, словно стерта, будто мой школьный учитель по математике, стоя у доски, сказал мне: «Балтус, сотрите эту писанину, хотя мыслите вы и в верном направлении, но все прочее просто бред какой-то».

А я ведь всю эту неделю рисовал себе такие чудные картины: Балтус, признанный гений медицины, ставит на ноги неизлечимо больную девочку... Благодаря своему непревзойденному дару психологической интуиции спасает человеческую жизнь, когда все специалисты давно уже признали свое бессилие...

Нет, такого я, собственно, и не воображал вовсе. Если уж быть предельно объективным, то в эту неделю я вообще не вспоминал о своей проблеме, во всяком случае, не думал о ней так много, как накануне.

Но теперь все вернулось в прежнюю колею. Большой маятник вновь качается справа налево. Санитар без будущего — с одной стороны, поп-музыкант, обладающий «Жигулями», — с другой. Санитар — музыкант — санитар — музыкант...

И больше никаких вариантов я не вижу, никаких.

Больше всего мне сейчас хотелось бы сесть на мотоцикл и покатить куда глаза глядят. Куда-нибудь, только дорога бежала бы из-под колес, совершенно забыться, не помнить, что я Балтус, ощущать лишь, что я часть некоего существа — Балтус вкупе с машиной, так сказать, некто Балткумаш... и слышать только свист ветра навстречу...

А Симона и Нина?

Но просто так, как бы ни с того, ни с сего, умчаться, этого я не сделаю. Не проеду и пятидесяти километров, как на душе станет еще хуже, чем теперь.

Мне недостает плана! Плана с четким графиком, выверенным направлением движения, конечным пунктом. С поэтапными целями, которые можно было бы зачеркивать по мере их достижения. С графиком всей жизни, изображенным на чертежной доске. Плана, где все было бы четко обозначено, все было бы предопределено. Никаких закоулков, тупиков, параллельных путей, ответвлений. Два главных направления: профессия и семья. Или, выражаясь языком математического уравнения: доктор Балтус плюс семья, скобки открываются,

вероятно, Симона плюс Нина, скобки закрываются, знак равенства, счастье навек.

Так, теперь, похоже, настал момент, когда лучше остановиться. Разве не писали мы как-то в одиннадцатом классе сочинение на тему: «Что такое счастье?» И чего я, умное чадо, не нацарапал тогда! Жить нужно для определенной цели, в соответствии с требованиями, выдвигаемыми социалистическим обществом, делать максимум возможного, быть готовым к жертвам, в качестве примера для подражания привел Павла Корчагина, который, несмотря на удары судьбы и болезнь, никогда не терял мужества и вел насыщенную полнокровную жизнь. И получил я за то сочинение пятерку...

Ах, умница Балтус, — ну так и живи теперь по нормам того сочинения!

17

Сегодня пятница. Все еще. И Балтус, сидящий на кушетке в комнате Симоны, Балтус не радостный, а скорей сумрачный.

Нина стоит у стола и рисует.

— Посмотри, Балтус, ты знаешь, что это такое? — спрашивает она и протягивает листок бумаги.

— Крокодил, наверно.

— Лодка, это лодка с веслами. А давайте покатаемся на лодке? Покатаемся на лодке, покатаемся на лодке, на лодке, на лодке, на лодке! — кричит Нина и кругами бегает по комнате.

Симона выходит из-за шкафа, где переодевалась. На ней платье, которое Балтус еще ни разу не видел. Из белого льна, плотно облегающее фигуру, с вышитой каймой. Темно-каштановые волосы мягко падают на плечи.

Сердце его обдало вдруг щемяще-радостным дуновением, ему захотелось встать, нежно прижать Симону

к груди и просто стоять так час, год, вечность. Только ощущать ее тело, вдыхать аромат ее волос.

Он по-прежнему сидит, старается не шевелиться, он боится — сделай он сейчас хоть одно движение, и дивный этот образ исчезнет.

— Если я тебя очень напугала своим видом, я сейчас же снова исчезну за шкафом и надену другое платье, — говорит Симона.

— Кататься на лодке, на лодке, на лодке, на лодке! — кричит Нина и взбирается Балтусу на колени.

— Ну хорошо, поедем кататься на лодке, — соглашается Балтус.

— Ну, ну, тогда мне, наверное, придется все-таки переодеться, если вы решили выйти в море.

Симона уходит за шкаф.

С Циппендорфского пляжа доносится шум набегающих на берег волн и веселые крики. Симона сидит на носу. На ней архиузкое модное бикини. Балтус и Нина — на веслах.

— У нас ничего не получается, мы все время кружим на одном месте, как на карусели, — хнычет Нина.

Балтус забирает у Нины второе весло. Он гребет равномерными глубокими гребками. Нина опускает ладошку в воду и совершенно неожиданно для Балтуса и Симоны спрашивает:

— Балтус, скажи, а ты теперь с нами на все время останешься?

Балтус, ошарашенный вопросом, медлит, надеется, что выручит Симона. Но та молчит.

— Понимаешь, Нина, это не так просто. Я, наверное, скоро уеду на Балтийское море. Да и домой мне надо попасть...

— Как здорово! На море мы все вместе поедем и к тебе домой тоже можно, — твердо заявляет она.

Балтус рад, что сидит спиной к Симоне. Смотреть ей сейчас в глаза ему вовсе б не хотелось.

— Посмотри, Нина, как прыгают рыбки из воды. Вон там, гляди, гляди!.. — говорит Симона.

— Где? Где? Я не вижу.

Нина так сильно наклоняется к воде через борт, что Балтус вынужден схватить ее за руку.

— Да вот же, видишь круги, где круги, там, значит, рыбка была, — объясняет Симона.

— А почему они выпрыгивают?

— Иногда потому, что за ними охотится большая рыба, а иногда они выпрыгивают из воды просто ради удовольствия.

Пока Балтус, пытаясь отвлечь девочку, что-то рассказывает ей, та напряженно смотрит на воду.

— Они совсем не хотят выпрыгивать, больше не буду смотреть, скучно. Я хочу, чтобы мы поплыли теперь к эскимосам.

Балтус и Симона смеются. Нина не понимает почему.

— Фрау Кинке говорила нам в садике: чтобы попасть к эскимосам, нужно все время плыть и плыть по воде, потом станет вдруг холодно-холодно, это значит, что вы уже у эскимосов.

Обстановка разряжается, Нина и Балтус снова без смущения могут глядеть друг на друга. Во всяком случае, Балтусу кажется, что это именно так.

Симона ободряюще смотрит на Балтуса.

— Ну, ты повезешь нас к эскимосам или нет?

— Вообще-то фрау Кинке права, только плыть к ним нужно не просто по воде, а по морю и на большом-большом корабле. Долго-долго и далеко-далеко. И все время на север, на север. А на севере много-много айсбергов. А в таком вот купальнике, какой на тебе, ты там окоченеешь от холода. И превратишься в ледышку. И растаешь. Кстати, насчет айсбергов, у меня прекрасная идея. Нет ли у нас на борту человека, который

не прочь был бы съесть большое-пребольшое мороженое, а?

— Это я! Это я! — кричат и Нина и Симона.

— Тогда курс строго к земле, полный ход! — командует Балтус.

Он изо всех сил налегает на весла.

Поездка на озеро не улучшила настроение Балтуса.

Своим вопросом — не намерен ли он остаться у них? — Нина вновь заставила его задуматься над самой главной его нынешней проблемой: Симона.

Знает он ее всего неделю, но испытывает чувство, какого никогда не испытывал ни к одной девушке. Любовь? Ему не нравится это слово. Но и какими-либо другими словами определить его он не может. Он сам еще не разобрался в своем чувстве, как ни старался все это последнее время. «Я обязательно должен поговорить с Симоной, — думает он. — Но как?» Сказать ей просто — я люблю тебя, по примеру героев, которых он часто видел в кино? Нет, он не такой наивный. Да и любовь ли то, что он к ней чувствует? Балтус испытывает страх перед сегодняшним вечером.

Когда Нина заснет, он останется наедине с Симоной. О чем тогда говорить, если не об их отношениях.

Симона снова надела белое платье.

Нина спит.

Балтус испытывает тревожное беспокойство.

— Не пойти ли нам в город, в кино, например? — спрашивает он, не поднимая глаз на Симону.

В глубине души он надеется, что она скажет: нет, давай лучше здесь останемся и...

— Я бы лучше дома осталась, с тобой, — говорит Симона, и ее глаза излучают такой нежный свет, какой Балтус не замечал еще ни в одних девичьих глазах.

Стараясь не высказать удивления, он говорит:

— Но у нас ведь нет даже вина...

— Есть, даже две бутылки красного.

Откуда-то из-за спины она достает одну бутылку и протягивает ему.

— Тебе остается только открыть.

Когда они сидят на кушетке перед горящей свечой, вокруг которой роятся насекомые, Симона говорит:

— С тобой явно что-то происходит или произошло, ты весь вечер странный такой. Не хочешь поделиться со мной?

Сейчас самое время сказать ей все, сейчас надо придумать, найти хотя бы одно верное слово, потом нашлись бы сами собой и другие. Сейчас, именно сейчас!

Он резко поворачивается к Симоне. И вновь видит в ее глазах этот нежный свет.

Он целует ее.

Симона кладет ему руки на плечи, обнимает. Он смущен и растерян: ведь он ожидал хоть какого-то сопротивления, да, хоть какого-то.

Он закрыл глаза и видит: при скудном свете свечи они идут навстречу друг другу, глядят друг другу в глаза, крупный план, они целуются. Помещение наполняется нежными звуками скрипки. Плавно, торжественно и медленно опускается бархатный занавес...

Рывком он освобождается от Симоны, при этом опрокидывает один из бакалов. По скатерти растекается красное пятно.

— Извини, извини, ради бога, не знаю, как тебе все это объяснить, — бормочет он.

— Пока ты соберешься с мыслями, я успею снять платье, может, еще удастся смыть пятно.

Ее голос звучит спокойно, уверенно. Она снимает с себя платье здесь же, в комнате, прямо при Балтусе. Стоит перед ним в бикини.

Балтус, Балтус.

Она выходит из комнаты, слышно, как льется из-под крана вода, она возвращается, все еще в бикини, проходит к шкафу и накидывает халат.

— Так, — говорит она, — теперь можешь мне все объяснить, если хочешь.

Балтусу кажется, будто в горле у него все ужасно пересохло. Он несколько раз кряду сглатывает. Что, собственно, сказать? Может, признаться: знаешь, у меня еще никогда не было ничего серьезного ни с одной девушкой? Или, может, попытаться объяснить ей, что ему ни разу в жизни не приходилось говорить кому-нибудь: «Сожалею, но помочь не могу», равно как и «Я тебя люблю»? Все это можно думать, чувствовать, но сказать, сказать это вслух он не может.

Но что-то ведь нужно сейчас сказать. И он говорит:

— Я сегодня совершенно измотался. Кристина сегодня сделала свой первый настоящий шаг, потом меня хвалил врач ее отделения, засвидетельствовал мой медицинский талант и спросил, буду ли я учиться. Как обстоят у меня дела в этом плане, ты знаешь. И тут я вспомнил, почему, собственно, уехал из Берлина, какую проблему мне необходимо решить.

Симона прерывает его:

— Неужто тебе так обязательно думать об этом все время?

Как бы ей объяснить, что теперь его беспокоит — и куда больше — совсем другое. Надо бы сейчас сказать: я втюрился в тебя, это все только осложняет, может, мне спать бы сегодня не на чердаке, а...

Нет, этого Балтус не говорит. Он говорит:

— Знаешь, нам необходимо о многом поговорить. Но сейчас я бы лучше поднялся к себе и лег на скрипучую походную кровать; я не только устал, у меня такое чувство, будто я под прессом побывал. А поговорить мы успеем, ведь у нас впереди еще целая неделя.

Он встает. Симона остается сидеть. Балтусу кажет-

ся, что в ее взгляде он замечает нечто вроде разочарования.

Он медлит мгновение, но потом все-таки идет к двери.

18

Похоже на то, что я осел. Так дальше вести себя нельзя.

Ясность, решительный выбор — вот теперь мой девиз.

Балтус, соберись, жизнь — прекрасная мелодия...

Итак, согласно программе еще неделю работаю в больнице. В следующее воскресенье еду дальше. Накануне проясняю вопрос с Симоной. Потом изучаю ансамбль Гарри во время их балтийского турне. После чего делаю выбор на всю оставшуюся жизнь: либо санитаром с перспективой выучиться на врача, либо подамся в музыканты. Тэк-с! С данной секунды превращаюсь в компьютер: собираю одни только факты — в больнице, в ансамбле Гарри, будущее — на реальную почву! Потом щелкаю моим реле: выбор!

Жизнь — прекрасная мелодия...

Загвоздка только в том, что я не компьютер, ибо... я чувствую. Например, Симона, она совершенно не вписывается в мой компьютерный вариант. Здесь наметилось что-то такое, к чему не подступиться ни цифровым, ни линейным способом. Она мне нравится. У меня голова кругом идет, когда я ее вижу, особенно если на ней то белое платье.

Но я не вправе привязать ее к себе. Я гол как сокол и сам отнюдь не сокол, а только пока воробей.

Я мог остаться сегодня с ней внизу. Если б захотел, она поднялась бы ко мне. Да, вполне могло бы случится так. А завтра утром? Как она на меня посмотрела бы? Как бы все тогда обернулось?

Через неделю я еду дальше. Я бы не хотел оставлять в душе Симоны след, который потом стал бы раной.

И почему я не Бельмондо? Все делал бы одной левой, спокойно, хладнокровно, играючи, не упускал бы ни один шанс.

Но я не Бельмондо, я Балтус. Вот в чем моя боль и проблема.

Клаус, наш классный Казанова, тот не увидел бы никакой проблемы. У него все шло по формуле: любовь — да, привязанности, обязанности — ни в коем случае. Чего у меня никогда еще не было с девушками, у него бывало не реже трех раз в неделю... Если правда то, что он нам так часто рассказывал. Эрика как-то заявила: «Это ты другим рассказывай, что Казанова против тебя несмышленый молокосос, а я уверена, что голых девочек ты только на картинках видел!»

Я не Бельмондо и не Клаус, впрочем, и не легко программируемый компьютер. Итак, я точно знаю, кем и чем я не являюсь. Но кто же я? Кто же я? Если я и дальше буду в себе копаться, сегодня я не засну. А ведь я сейчас мог бы лежать рядом с Симоной, если б захотел, конечно.

Ладно, на эту тему больше ни-ни. Меняем курс...

Моя скрипучая кровать предмет хоть и исторический, но крайне неудобный. Дед фон Бреденфельде загнулся на ней в африканской пустыне; надо бы прочистить карбюратор; нельзя быть вблизи Симоны, когда на ней бикини, такой провокации я в следующий раз могу не выдержать и сорваться; завтра целый день — воскресенье...

Воскресенье. Нужна, ой как нужна какая-нибудь идея!

19

А не обретет ли он уверенность, если перекинется двумя-тремя фразами с отцом, поговорит с ним, как в добрые старые времена, времена кладоискательства?

За завтраком он говорит:

— Поедем сегодня куда-нибудь, куда вынесет. Тронемся, как только Нина будет готова.

Нина в ту же секунду заталкивает в рот полбутерброда, что должно означать — пожалуйста, я уже готова.

Симона молчит. Она пока вообще не сказала ни одного слова, кроме «доброе утро».

«Вероятно, оттого, что я вчера вел себя как баран», — думает Балтус.

— Как ты насчет экспромт-поездки? — спрашивает он.

— Я не против, — отвечает она и начинает убирать со стола.

То, что он называет экспромт-поездкой, на самом деле не что иное, как обдуманное решение Балтуса: мы едем в Фельдберг. Пусть я совершенно случайно найду его дом и он совершенно случайно увидит на и пригласит нас совершенно случайно в дом, а потом...

Ну и что потом?

Примерно в полдень они приезжают на место. Теперь самая пора случайностей.

Маленький городок, кажется, погружен в ленивую летнюю дремоту. Пусты улицы, некоторое оживление лишь у ресторана, около которого стоит несколько машин и мотоциклов. Одинокий полицейский, облокотившись о капот «трабанта», выписывает штраф и засовывает квитанцию за «дворники».

Тут Балтус берет Его Величество Случай за шиворот и спрашивает:

— Извините, пожалуйста, вы не знаете, где здесь живет господин Прайсман?

— Если вы имеете в виду писателя из Берлина, то он живет внизу у озера, сразу за лесопильней надо свернуть на проселочную дорогу...

Симона слышит диалог.

— Это твой отец?

— Да.

— Если хочешь, я останусь с Ниной здесь, мы пока пообедаем, а ты потом за нами заедешь.

Это Балтусу не подходит.

— Я не собираюсь к нему в гости. Просто хочу взглянуть на его дом издали, так, мимоходом.

Они катят по проселочной дороге, оставляя за собой длинный пыльный шлейф. Теперь самое время для второй случайности. Но и ее нужно подмаслить.

Проезжая мимо усадьбы, Балтус видит в саду Тину с граблями, на веранде сидит отец и читает. Но оба не замечают Балтуса.

Не доезжая до конца улицы, он разворачивается, медленно-медленно еще раз едет мимо усадьбы. Однако и на этот раз его не замечают.

Недалеко от шоссе, на которое выходит проселочная дорога, Балтус снова разворачивается.

Его Величество Случай явно ждет, чтобы его подтолкнули: перед садовой калиткой Балтус до отказа выжимает газ и заставляет мотор адски взреветь. Именно этого и ждал Его Величество. Тина опирается на грабли, а отец Балтуса смотрит поверх газеты. Между тем Балтус успел доехать до конца улочки.

Он вновь поворачивает, а Симона спрашивает:

— Может, ты мне скажешь, что все это значит? Весь этот цирк?

Балтус делает вид, будто ничего не слышит, и они вновь приближаются к усадьбе. И как того желает Его Величество Случай, Тина стоит у садовой калитки. Балтус едет черепашьим ходом, так что едва может удерживать равновесие.

Тут наконец пробивает минута Его Величества Случая:

— Вот так чудеса, Балтус, ты? — кричит Тина.

Балтус давит правой ногой на тормоз и глушит мотор. Тина, кажется, искренне рада.

— Ну давайте слезайте и заходите. А как зовут нашу маленькую леди?

Балтус бормочет, что совершенно-де случайно вот проезжал, и тут у него, мол, мелькнула мысль, и что они вовсе не хотели им мешать, и поедут дальше...

Симоне кажется, что она здесь совсем некстати. Но чувство это тотчас улетучивается.

— Ну что же, если стесняется Балтус, этот человече, тогда хоть мы с тобой пойдем, — говорит Тина, обнимает Симону за плечи и ведет ее в сад.

Балтус обстоятельно ставит мотоцикл, копается в бензопроводе, посматривая на отца, идущего навстречу женщинам.

Балтус чувствует: похоже, пора быстренько содействовать прояснению ситуации. Он обгоняет Тину и Симону и перехватывает отца.

— Добрый день, извини, мы случайно заехали в здешние края и...

— Случайно? Жаль, я думал, ты специально.

Такая встреча помогает Балтусу избавиться от неловкости. Он думает: надо же, неделю назад, когда я к тебе приходил, ты говорил совсем другое. Если, конечно, ты и сейчас не скажешь вдруг: ну, Балтус, сколько тебе нужно...

Прежде чем Балтус успевает обозлиться, он вспоминает о Симоне.

— Это Симона, — говорит он.

— А я Нина, — пищит Нина.

— Ну, если так, то проходите, пожалуйста, я сейчас принесу на веранду еще два стула. Что будете пить?

Такого приема Балтус не ожидал. Ну разве это не настоящая случайность и разве это, сверх того, не сюрприз?!

— Я быстренько начищу еще картошки. Обедать-то вы, надеюсь, останетесь? — говорит Тина. Она забирает Симону с собой в дом.

Нина ловит в саду божьих коровок и складывает их в спичечный коробок.

Балтус сидит на веранде с отцом, но разговор у них никак не налаживается. Да и что говорить Балтусу? В нем мало-помалу разгорается чувство, подобное тому, что охватило его неделю назад, когда он приходил к отцу, стоял внизу, перед входной дверью.

— Я звонил тебе на следующий день, — говорит отец. — По-дурацки все так получилось в тот вечер. Я как раз вернулся из Франции, устал чертовски, а потом эта толпа гостей. Как там можно было говорить? Твоя мать сказала мне по телефону, ты куда-то уехал, честно, Балтус, я хотел поговорить!

Балтус не знает, что ответить отцу.

— Ты здесь действительно случайно оказался? — спрашивает отец.

— Честно?

— Предельно честно, Балтус.

— Не случайно.

— Ну тогда будь здоров, мой мальчик.

У Балтуса на мгновение возникает такое чувство, будто вернулось доброе старое время кладоискательства. Из дома слышно хихиканье и иногда смех.

— Они, похоже, сразу нашли общий язык, наши дамы, — комментирует отец. — Расскажи, где ты, собственно, пропадаешь?

— Я подрядился на две недели в больницу в Шверине, санитаром, потом несколько дней отдохну на Балтийском море, — говорит Балтус и ждет теперь вопроса: а что потом?

Вопрос действительно следует.

— А потом?

— Не знаю. Пока не знаю.

— Как? Что-то я тебя не пойму. А твоя учеба?

— Пока не состоится, — лаконично отвечает Балтус.

— Что значит «пока не состоится»?

— Самая ординарная вещь на свете: не принят, — небрежно отвечает он.

— Ну, парень, я тебя не понимаю. Почему же ты сразу не пришел ко мне? Я бы попробовал что-нибудь придумать.

Тина и Симона выходят на веранду.

— Так, подвиньтесь чуточку и развлекайте нас, пожалуйста, — говорит Тина.

Развлечения мужчинам как-то не приходят на ум, но Тина не позволяет возникнуть паузе.

— Представь себе, Гюнтер, Симона, так же как я когда-то, медсестра.

Нина заходит на веранду со спичечным коробком в руке и забирается к Балтусу на колени.

— У меня здесь много-много божьих коровок, посчитай.

Она вытряхивает их из коробки на стол. Божьи коровки расползаются по скатерти во все стороны. Балтус считает вместе с Ниной:

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

После того как улетает наконец последняя, Тина и Симона накрывают на стол.

— Так, теперь мы женской компанией отправляемся на озеро, а вам предоставляется почетное право заняться мытьем посуды, — говорит Тина тоном, исключающим какие бы то ни было возражения.

Балтусу отец поручает вытирать посуду.

— Ты мне так и не ответил, Балтус. Почему не пришел ко мне, когда тебе отказали?

Балтусу теперь все, что он собирался сказать, кажется сплошным фразерством, все эти «чего я хотел бы достигнуть в жизни, я хотел бы достигнуть самостоятельно», «хочу добиться этого сам или вовсе не добиться», «мне претят протекции и блат». Он говорит:

— Не знаю, поймешь ли ты меня. Дело было так: вообще-то неудача исключалась, во всяком случае я ее никак не ожидал. Но когда это все-таки случилось, меня словно нокаутировало. А если быть честным до конца, в последние годы мы с тобой никогда не гово-

рили по-настоящему. Правда, я к тебе иногда приходил, ты давал мне деньги, даже когда они мне не требовались, но по-настоящему говорить мы с тобой никогда не говорили. И так вот просто вдруг прийти... Кроме того, я хочу, чтобы приняли меня не потому, что ты мой отец.

— Тебе не кажется, Балтус, что это фальшивая гордость или, может, даже своего рода сомнительное чувство превосходства, а?

— Нет, я так не считаю!

— Тогда расскажи, что ты намерен предпринять дальше.

— Этого я пока не знаю, я пока раздумываю, есть разные возможности...

— Так ты, значит, собираешься отказаться от своей цели — быть врачом?

— Нет, этого я не хочу, но не исключено, что придется сделать так поневоле!

— Тогда позволь все-таки помочь тебе, парень. Я еду послезавтра в Берлин, посмотрю там, что можно сделать. Наверняка можно как-то поправить дело.

— Ты меня не понимаешь, такой помощи мне не нужно, отец, — говорит Балтус.

Но такой твердости, с какой звучат его слова, такой твердости в нем нет. В голове у него мелькают и другие мысли: сейчас я упускаю, может, единственный шанс. Почему не сказать просто: хорошо, отец, попробуй. Разве действительно так безнравственно, если я использую этот шанс? И может, это вообще высшая справедливость? В конце концов я сделал все, что было в моих силах, больше чем другие, и не справедливо ли будет, если я прибегну к помощи?

— Ну хорошо, если ты так горд и так упрям или как это ни называй, помочь тебе трудно, — говорит отец. Но он испытывает известное уважение к позиции своего сына. Она напоминает ему о собственной юности... Ему кажется, что сын очень похож на него. Ему

хочется сказать Балтусу что-нибудь ободряющее. Но как?

Когда вода начинает бежать из раковины, полной посуды, он говорит:

— Между прочим, Тина изрядно намылила мне голову после твоего визита. Думаю, она была права. И, знаешь, я очень рад, что ты совершенно случайно оказался здесь у меня...

Балтус чувствует, что отец говорит искренно, его тянет сказать ему в ответ что-нибудь ласковое, примиряющее, но и в то же время что-то в нем и противится этому чувству.

20

Как ни странно, я не так уж паршиво себя чувствую.

Сегодня после обеда я сомневался, верно ли поступил, отказавшись от его помощи — как он ее понимает. Меня и вправду поразило, что он обрадовался моему приезду.

Если быть совершенно искренним: не видел бы сам, ни за что не поверил. Догадывается ли Симона, что она была для меня своего рода моральной защитой?

Забавная ситуация возникла, когда Тина сказала:

— Если хотите, можете остаться на ночь. Места у нас хватит.

Ну и видок, наверно, был у меня в тот момент! А Симона нашлась: «Это Балтусу решать, я-то завтра свободна». Что было говорить после этого?

Тина действительно молодчина. Увела меня под каким-то предлогом на кухню и спросила:

— Не могу сказать, что знаю, какие у вас с Симоной отношения. Хочу только знать, как вы будете спать, — порознь или вместе?

Тут, наверно, на моем мальчишеском лице выступили красные пятна.

— Пойми меня правильно, Балтус, я подумала: лучше уж мы сами выясним этот вопрос, а то может получиться неловко не только для тебя, но и для Симоны.

Я бы охотно рассказал Тине все о наших с Симоной отношениях, но не набрался мужества, сказал только:

— Думаю, отдельно лучше.

— Балтус, ты отличный парень, — сказала она и поглядела на меня так, что мое лицо из пунцового стало лиловым.

Я не понял, что она имела в виду.

— Я думаю, Симона из тех девушек, с которыми нельзя вести себя легкомысленно. Мне она очень нравится, Балтус.

Да, так вот говорит Тина. И моему отцу Симона, похоже, тоже пришлась по нраву. Пока Тина держала со мной тайный совет, он открыл бутылку своего любимого вина.

Когда мы снова все вместе сидели за столом, он сказал:

— Так дальше не пойдет. Здесь все говорят на «ты», отчасти по родственным мотивам, отчасти из чувства женской солидарности. Мне нравится позиция постороннего...

Он протянул Симоне бокал.

— Вы позволите, чтобы я обратился к вам на «ты», и ответите мне тем же?

И хотя, по моим понятиям, звучало это чересчур выспренне, но тем не менее было приятно. Правда, я невольно хихикнул, когда дело дошло до поцелуя. Он никак не мог решить: целовать ее в щеку или в губы? Поколебавшись, поцеловал в щеку.

Странно. Ничего экстраординарного не случилось сегодня, но у меня такое чувство, будто я вдруг распахнул дверь, перед которой долгое время стоял без ключа. Теперь я мог бы откровенно поговорить с Симо-

ной обо всем, обо всем, что касается нас двоих. Не прокрасться ли мне к ней в гостиную? Симона из тех девушек, с которыми нельзя вести себя легкомысленно, сказала Тина. Да и у нас ведь еще целая неделя впереди, так что успеется. Интересно было бы знать, что думает сейчас, в эту минуту, Симона. Какую роль она мне отводит? Хотелось бы быть сейчас рядом с ней. Гладить ее волосы. Сказать ей, что...

Балтус, ты заводишь себя, к чему этот вздор, к чему он сейчас? Подумай о чем-либо другом, о чем-либо таком, что никак не связано с Симоной. А потом спать, спать... Капитан Немо сидит в салоне «Наутилуса», играет на фисгармонии «Иеллоу Сабмэрин». На одной из картин, висящих по стенам, — изумительно красивая женщина: темно-каштановые волосы, длинное белое платье с удивительной узорчатой каймой...

Роберт Кох стоит в лаборатории, у него вид человека усталого, больного. Его ассистентка переносит бактериальные культуры на предметное стекло, заталкивает его под микроскоп. На ней чертовски соблазнительное бикини. Балтус, иди сюда, быстрей, мы обнаружили их...

Капитан Немо играет на фисгармонии, мимо иллюминаторов — в экзотическом подводном мире — проплывают причудливые рыбы, где-то на горизонте яркой белой точкой светится домик, во всю длину фасада которого золотыми буквами значится: «Сельская амбулатория Тимбукту, округ Нойстрелиц...»

«...твоя Симона из тех девушек, с которыми нельзя вести себя легкомысленно».

21

Балтус дежурит ночью в мужском отделении. Он сидит в скудно меблированной комнате и читает. В качестве закладки он использует записки, какому пациенту в какое время какие пилюли, таблетки или кап-

ли следует дать. В экстренных случаях он обязан вызвать дежурного врача.

Тишину нарушает легкий жужжащий звук. Вспыхивает лампочка с цифрами. Балтус идет в палату с соответствующим номером и тут же возвращается оттуда с «уткой». Он выливает содержимое в туалет, споласкивает ее и несет обратно в палату.

Опять сидит в дежурной комнате. Строчки плывут перед глазами, сближаются, сливаются, голова его падает на стол. Он спит.

Голосит будильник, и Балтус вскидывает голову, смотрит перед собой. Ровно двенадцать. Он словно в трансе берет маленький поднос, на котором стоят три крошечные пиалы. Каждая из них снабжена полоской бумаги с надписью: фамилия пациента, номер палаты, название препарата, количество таблеток.

Пора будить первых двух больных. Послушно, как дети, глотают они свое лекарство, запивают водой, которую подает им Балтус, поворачиваются на другой бок и быстро засыпают.

В третьей палате горит свет. Мужчина лет пятидесяти сидит на кровати и смотрит на Балтуса глазами, полными ожидания. После того как больной принял лекарство, Балтус хочет уйти.

— Пожалуйста, останьтесь на минутку, — говорит больной, — знаете, я боюсь, все время боюсь, что могу не проснуться, если засну. Вам, наверно, трудно это понять. В вашем возрасте еще не думают о смерти.

Балтус не знает, что сказать. Но, больной, очевидно, вовсе и не ждет слов Балтуса: он говорит и говорит без умолку сам.

— Полтора года назад у меня был инфаркт, вот, а теперь, знаете, я попал сюда из-за желудка. Но кто пережил инфаркт, тот живет до первого звонка. Врачи хоть и убеждают, что и наш брат может прожить до ста лет, но это просто своего рода психологическая пилюля, чтобы успокоить, да, только чтобы успокоить.

— Мне надо возвращаться в дежурную комнату, — говорит Балтус и направляется к двери, — может статься, кто-то уже вызывает меня, я должен спешить, вы уж извините!

Лицо мужчины выражает смущение и оцепенение.

— Постарайтесь заснуть, я попозже зайду к вам еще раз, а сейчас, извините, не могу задерживаться, мне действительно пора идти, — говорит Балтус.

Идя по коридору, он на ходу читает имя, написанное на листочке: Матиас Хюбнер.

Дежурная сестра приходит на час раньше положенного. Она сомневалась, по плечу ли Балтусу ночное дежурство.

Балтус рад, что может идти домой. В самом деле, домой, думает он. Домой, к Симоне!

Да, домой — надо бы написать матери открытку. Хотя она и делает всегда вид, будто совершенно не беспокоится на мой счет, но это просто из-за своих принципов, она не любит высказывать чувства. Напишу ей завтра письмо, а уж открытку так наверняка.

На мгновение у него мелькает мысль, что есть ведь еще и Моника, подруга Симоны, которой, собственно, и принадлежит комната, воспринимаемая им как дом родной.

Тихонько поднимаясь по лестнице к своему пристанищу, он встречается с Симоной.

Она как раз собралась отводить Нину.

— Доброе утро, я приготовила тебе бутерброды и согрела чайник, — говорит она и добавляет с улыбкой: — Можешь, между прочим, спать на моей кушетке, если это тебе подойдет, конечно.

Все утро Балтус спит. После обеда он обрезает кусты фрау фон Бреденфельде. И невольно вспоминает Хюбнера, который боится умереть. Балтус решает поговорить с ним следующей ночью, или хотя бы дать ему выговориться.

Когда Симона с Ниной приходит домой, Балтус уже накрыл стол к ужину.

— Мне кажется, из тебя выйдет неплохой супруг, — со смехом говорит Симона, а Нина виснет у Балтуса на шее.

Симона получила открытку от Моники: она возвращается в конце недели. И спрашивает: неужто этот забавный парнишка Балтус все еще не уехал? Балтусу эту открытку Симона не показывает.

Уложив Нину, спев ей несколько песенок на сон грядущий, Симона спрашивает:

— Я провожу тебя до больницы, если хочешь. Хочешь?

Еще бы ему не хотеть! Они выходят из дому часом раньше необходимого. Идут не кратчайшим путем. Перед входом в больницу Симона прощается с Балтусом поцелуем, который приводит его в полное смятение, ибо это не современный мимолетный поцелуй, не поцелуй напутственный, каким целуют матери, а скорее привычный «супружеский» поцелуй.

Ободренный этим поцелуем, Балтус говорит:

— Симона, мне необходимо с тобой поговорить, да, нам необходимо поговорить.

— Да, нужно, но не сейчас, взгляни на часы.

Она целует его еще раз, но теперь как бы невзначай. И уходит. Балтус рад, что он хотя бы начал разговор. Теперь будет легче объясниться. Завтра, может быть, послезавтра, во всяком случае, скоро.

Он уходит от ворот, только после того, как Симона исчезает из виду. По парку он не идет, а летит, как во сне, минует лужайку, где встречался на прошлой неделе с Кристиной, длинный коридор мужского отделения и оказывается в ординаторской.

Дежурная сестра второй смены как раз собирается уходить домой. Она сняла халат и стоит в трусиках и бюстгальтере.

— Прошу прощения, — говорит Балтус и хочет от-

ступить в коридор и подождать там, пока молоденькая медсестра не закончит переодевание.

— Да ты заходи, не видал девочек в купальниках, что ли? Судя по твоему виду, приходилось, вероятно, видеть их и в более пикантном одеянии. — Она надевает платье через голову.

И хотя теперь она одета, Балтус видит ее все еще в трусиках и бюстгальтере. Прежде чем его воображение успевает дорисовать эту картину, она говорит:

— Старшая сестра Мария, ты, наверно, видел ее сегодня утром, похоже, считает, что ты ужасно скучаешь во время ночного дежурства. Она оставила тебе послание, там четко расписано, как развеять скуку. Мне, надеюсь, ты тоже не откажешь в любезности. Понимаешь, не успела вымыть всю посуду после обеда, сделай милость, вымой несколько тарелок и чашек исключительно для меня. Кстати, меня зовут Сюзанна, но можешь звать меня просто Сюзи, меня все так зовут.

Балтус не успевает сказать ни да, ни нет, потому что Сюзи, послав ему воздушный поцелуй, выпархивает из комнаты.

Он один. Он думает о Симоне. Думает ли сейчас о нем она? Он идет к окну, открывает его. Комнату наполняет запах цветов и сырости, квакают лягушки, поют соловьи. Пробившись через деревья парка, в комнату проникают звуки ночного города: шуршанье автомобильных шин, дребезжанье трамвая.

Балтус, стоя у окна, делает несколько глубоких вдохов, словно ныряльщик перед прыжком. Он идет к шкафу и натягивает халат. Вот теперь он действительно заступил на дежурство.

Он сидит за столом, а воображение уносит его в иное время и пространство.

Балтус, великий ученый, сидит после тяжелого рабочего дня в клинике за своим письменным столом и просматривает записи последней ночи. Он на пороге

решения проблемы рака. После его статьи, опубликованной в авторитетном международном медицинском журнале, о его исследовании писали газеты Москвы, Нью-Йорка, Токио и Парижа: ученый из ГДР на пороге решения раковой проблемы здравоохранения! Доктор Балтус освобождает человечество от ракового бича! Проблема века почти решена! Доктор Балтус Прайсман — Эйнштейн медицины!

Неторопливым жестом Балтус достает из-под мензурки записку. Читает:

«Уважаемый господин Прайсман!

Пожалуйста, приготовьте тележку для завтрака, но раньше пяти хлеб не режьте. Поставьте чашки на блюдца вверх дном. Отнесите канюли и шприцы в третье отделение на стерилизацию, а ближе к утру принесите их обратно. Внимательнейшим образом читайте бумажки на мензурках с лекарствами, чтобы каждый больной получил нужное лекарство. У нашей уборщицы завтра выходной, поэтому было бы очень кстати, если бы вы протерли пол в дежурной комнате влажной тряпкой.

В заключение желаю вам спокойной ночи.

Старшая медсестра Мария».

Записка возвращает Балтуса к действительности. В коридоре раздаются шаги. Это дежурный врач. Не вчерашний.

— Добрый вечер! Вы в курсе?

— Думаю, что да, — говорит Балтус.

— Ну, тогда можем выкурить по сигаретке.

Врач протягивает Балтусу пачку.

— Спасибо, но я сейчас не хотел бы курить.

— Вот чертовщина какая, еще один, жаждущий прожить до ста лет...

Врач читает записку медсестры.

— Еще одно из знаменитой серии любовных писем старшей сестры, что ж, в таком случае не стану отвле-

кать вас от вашей благородной деятельности, ну, а если случится что, звоните по 348; вообще-то ночь должна пройти спокойно, тяжелых больных у нас сейчас нет.

Балтус снова один. Балтус кладет перед собой на стол записку. Если выполнять все пункты программы, то надо приниматься за дело немедленно. Но вспыхивает лампочка с цифрой 16 — больной Хюбнер.

— Добрый вечер, что вам угодно? — говорит Балтус, входя в палату, и в то же мгновение сознает, что такая речь больше пристала бы официанту какого-нибудь солидного ресторана, а не санитару.

Хюбнер сидит на постели, лицо у него красное-красное, как от долгого бега.

— Кажется, сердце у меня бьется сильней, чем надо бы.

— Позвать врача? — озабоченно спрашивает Балтус.

— Думаю, в этом нет необходимости, если б вы чуточку посидели здесь...

Балтус садится на стул рядом с кроватью.

— Знаете, странное такое дело. Днем чувствую себя хорошо. И читать могу, и по парку гуляю — я, кстати, всю прошлую неделю за вами наблюдал, как вы занимались после обеда с девочкой — да, днем я чувствую себя действительно хорошо. Но ближе к ночи, да и ночью тоже, словом, когда становится темно, когда все в здании затихает, тогда что-то во мне как скребет, всякие, знаете, черные мысли приходят. Видите ли, жена у меня на двенадцать лет моложе меня, дочка у нас есть, шесть лет. Что с ними будет, если меня вдруг не станет? Мысль эта не дает мне покоя. И тут не поможет никакое лекарство.

Балтус прерывает его:

— А кто говорит, что вы вдруг теперь, да вообще, почему это вы должны умереть? Вы же сами говорили, что попали сюда из-за того, что у вас что-то с желудком не в порядке.

— Да я и сам уж так себя все время уговариваю. Но сегодня они снова в который раз делали мне рентген, в шестой раз. Это неспроста, в шестой раз из-за пустого делать не станут. У нас с женой свой домик, есть машина, и все это, разумеется, не с неба свалилось. Казалось бы, печалиться, собственно, нечего, но меня все время гложет, особенно по ночам, все думается, что вдруг...

— Постарайтесь думать о чем-нибудь другом, например, о...

Балтус медлит, судорожно раздумывает.

— ...например, что вы станете делать, когда снова окажетесь дома, вспомните о том, как проводили последний отпуск, подумайте, как провести следующий, это отвлекает... Вы уж извините, но теперь мне пора идти, в полночь мы вновь увидимся, я принесу вам лекарство.

— Да, да, не беспокойтесь, идите, мне уже легче, до свидания.

Прикидывая в уме, как бы получше выполнить все наказы старшей сестры, Балтус пытается составить представление об этом странном Хюбнере. Выходит, что человек он малосимпатичный. Балтус не может понять, отчего этот мужчина так упорно твердит о том, что должен внезапно умереть.

Ночь прошла, как и предполагал врач, спокойно, без неожиданностей, если не считать того, что благодаря письму старшей сестры Марии скучать Балтусу не пришлось.

Следующие три дежурства прошли так же, но предпоследняя ночь, которую ему оставалось провести в больнице, с четверга на пятницу, выдалась нелегкая.

Длинный список указаний сестры Марии, мигающие сигнальные лампочки палат номер шесть, одиннадцать,

пять, а примерно около трех номер шестнадцать — больной Хюбнер.

— Я тут опять целую вечность лежу без сна, если у вас нашлось бы немного времени, мы могли бы чуточку побеседовать.

Балтус не против, наоборот, около трех часов у него глаза слипаются, собеседник в такой момент помехой быть не может. Он садится.

— Я вам уже говорил, что я по профессии учитель, учитель немецкого языка? Стать учителем я мечтал еще в детстве. Вскоре после войны я начал преподавать в преобразованной школе. В 1949 году поступил на рабоче-крестьянский факультет. Про это время в учебниках теперь пишут как про тяжелое. Но оно было по-своему и прекрасное. У нас были идеалы, цели, ради которых стоило жить. Конечно, время действительно было трудное, но и прекрасное тоже.

«Почему он мне это рассказывает? — спрашивает себя Балтус. — Наверно, боится снова остаться наедине с самим собой».

— Недавно мне вспомнилась одна забавная история, — продолжает Хюбнер, — было это в году сорок девятом или пятидесятом. Тогда в моде были короткие такие куртки, внизу, знаете, и на рукавах на сборках, носить их было так же модно, как, скажем, теперь джинсы. Я учился в ту пору в Галле. У всех были такие куртки, кто купил сам в Западном Берлине, кому прислали с той стороны. Боже мой, как я мечтал о такой куртке. Изо всей нашей группы только у меня и не было. На подмогу из дому рассчитывать не приходилось, жил я на одну стипендию. Ну с нее, конечно, много не выгадаешь.

Со своей первой учительской зарплаты я наконец купил такую куртку. К тому времени, правда, они давно уж вышли из моды, но я носил ее с гордостью, пока не заметил, что ученики потешаются надо мной

из-за старомодной куртки. Я сжег ее, сжег свою мечту. Я не надоел вам своей болтовней?

Балтус с интересом слушает Хюбнера. Он испытывает сочувствие к этому человеку. Он уже не кажется ему малосимпатичным.

Хюбнер не дает Балтусу времени на раздумья, он продолжает:

— Это вообще странный феномен — страсть что-нибудь приобрести. Когда наконец получаешь... Радость, истинная радость овладевает тобой и переполняет тебя, лишь пока ты идешь к цели и чувствуешь, что вот-вот достигнешь ее. Так было у меня, когда я мечтал о собственном доме, а потом и о машине. Если б я мог начать все сначала, с нуля, я бы кое-что сделал совсем по-другому. Кое-что из тех идеалов, которые были у нас вначале, следовало непременно сохранить. Не поймите меня, пожалуйста, неверно, сегодняшние мои идеалы и тогдашние очень даже похожи, я от них вовсе не отказался. Для вас моя болтовня звучит, наверно, очень бестолково и непонятно. Это, может быть, все оттого только, что у меня такое чувство, что впереди меня почти ничто уже не ждет, что вся жизнь осталась позади...

Последняя ночь в больнице. Завтра воскресенье, и он наконец-то объяснится с Симоной. Они пообещали это друг другу сегодня утром.

Быстро пролетит ночь, и наступит прекрасный день — воскресенье, вечером они собираются пойти на танцы, потом он скажет Симоне, что он к ней испытывает, скажет ей, что хотел бы навсегда остаться с ней, если она согласна...

Наступит новый день, чудесный день — воскресенье. Быть может, они еще раз съездят в Фельдберг.

Вот-вот закончится его последнее дежурство в больнице. Еще два часа, и конец смены, конец ночи, насту-

пит утро, свободное, вольное, он пойдет домой, будет завтракать с Симоной и Ниной...

В этот момент вспыхивает лампочка шестнадцатой палаты: Хюбнер.

Балтус медленно идет по коридору, открывает дверь. Палату освещает лишь тусклый свет пасмурного утра.

Балтус щелкает выключателем.

Хюбнер лежит на постели, лицо побагровело, он с хрипом хватает воздух, взгляд блуждает по потолку.

— Господин Хюбнер, господин Хюбнер!..

Мужчина в постели, кажется, ничего не слышит, не слышит, что Балтус окликает его.

Балтус мчится в ординаторскую, звонит врачу — и к Хюбнеру.

Он кладет руку под голову больному, чуть приподнимает его на подушку. Хюбнер дышит все ровней, он закрывает глаза.

В палату входит врач. Балтус отходит в сторону.

Врач нащупывает пульс, наклонившись, слушает сердце.

— Тут мы уже бессильны, уже бессильны, — говорит он, оборачивается и кладет руку на плечо Балтусу. Они выходят из палаты.

Балтус еще не вполне осознает, что произошло. Все его естество противится тому, что здесь, у него на глазах, угасла человеческая жизнь.

— Он действительно умер?

—Да, умер.

В коридоре, у окна, выходящего в парк, они останавливаются.

Врач предлагает Балтусу сигарету. Они курят.

— Честное слово, мне очень неприятно, что вам в последнее ваше дежурство пришлось пережить это, — говорит, сделав глубокую затяжку, врач.

Скорей самому себе, нежели врачу, Балтус говорит:

— Вчера ночью он мне рассказывал, что по-иному

распорядился бы своей жизнью, если бы мог начать все с самого начала.

— В такие минуты я иногда жалею о том, что я врач, иногда хочется сменить профессию. Слава богу, в ней есть и другие стороны.

И после короткой паузы добавляет:

— Я слишком даже хорошо себе представляю, как это вас потрясло. Когда так вот внезапно с глазу на глаз встречаешься со смертью... Со мной это случилось на втором курсе института, и прежде, конечно, доводилось видеть мертвых в анатомичке, но когда я сам присутствовал при том, как умирала молодая девушка, а было ей лет двадцать, не больше, я спросил себя действительно всерьез: не ошибся ли в выборе профессии, гожусь ли для нее, так глубоко потрясла меня тогда смерть девушки?

Из больницы Балтус уходит, когда часы показывают уже без малого девять. Он прощается с сестрами и идет в кассу за деньгами.

Проходя в последний раз через маленький больничный парк, он встречает Кристину. Она приближается к нему на костылях удивительно быстро.

— Ты придешь завтра снова в парк? Не видела тебя всю неделю.

Балтусу кажется, будто голос девочки он слышит во сне.

— Нет, — говорит он, — я уже не приду в больницу, завтра я, наверно, уеду отсюда.

— Жаль, а меня ведь очень скоро выписывают. А еще знаешь что, наш папа теперь снова будет жить с нами.

Балтус прощается с девочкой.

От ворот навстречу ему идет женщина в черном. С ней девочка лет шести.

22

Сейчас мне не уснуть. Наверно, самое лучшее поехать вместе с Симоной и Ниной на Циппендорфский пляж.

Хюбнер не выходит у меня из головы. А ведь я его почти не знал. Всего несколько разговоров, вначале он казался мне малосимпатичным. Лишь когда я услышал, как ему хотелось купить куртку, он начал меня интересовать. Чем больше знаешь о пациенте, чем ближе узнаешь его как человека, тем сильней, вероятно, переживаешь, если он вдруг умирает.

О смерти я размышлял уже не раз, о своей собственной смерти. Я знаю, что смерти никто не может избежать, что рано или поздно она придет к каждому, в какой-то день и час, не сегодня, так завтра, не через тридцать лет, так когда-нибудь еще, но обязательно придет. Я не могу себе представить, что в один миг все вдруг исчезает, превращается в ничто. В ничто, в ноль, в пустоту. Вчера, в это время. Хюбнер еще жил, ел, гулял по парку, быть может, строил планы на будущее, прикидывал в уме, что будет делать после того, как выйдет из больницы. Если б я мог еще раз начать все с самого начала, я бы поступал в своей жизни совершенно иначе, сказал он. Но как именно, этого он не сказал. Надо ли было спросить его? Я нахожусь сейчас как раз в такой нулевой точке, в самом начале пути. Неужели мое начало уже так запрограммировано, что в сорок или пятьдесят мне придется сказать то, что я услышал от Хюбнера?

Неужели и вправду теперь, когда я нахожусь в самом начале, я могу сразу все так спланировать, все так устроить, что позже у меня не возникнет нужды все менять? Неужели и вправду я могу быть уверенным, что врач — единственно подходящая для меня профессия?

А может быть, все, что я себе навоображал, лишь хи-

мера? Все это: Балтус в Ламбарене, Балтус — победитель смерти, Балтус — Эйнштейн медицины?

Почему я ни разу не представил себе, как у постели больного я беспомощно смотрю, как угасает человеческая жизнь? А ведь я читал об этом в биографиях великих медиков. Отчего же так сильно потрясло меня то, чему я был свидетелем сегодня ночью?

Может, именно оттого, что жизнь музыканта, например Гарри, не столь сложна, она и кажется безоблачной? Ведь, не говоря уже о деньгах, — она доставляет удовольствие, даже большое удовольствие, ведь так приятно играть для людей, доставлять им радость... Сейчас мне очень хотелось бы поговорить об этом с Хюбнером. Заснуть теперь не удастся. Еду на Циппендорфский пляж и постараюсь найти там Симону и Нину!

23

Нашел он их быстро. И теперь строит с Ниной песочный городок. Симона, прикрыв плечи, сидит рядом и дает им мудрые советы:

— Вы бы сделали еще побольше башенок, тогда ваша крепость была бы похожа на настоящий замок.

Нина и Балтус нагромождают на крепость башни. Балтус разговаривает с Ниной, но вообще-то его слова предназначены для Симоны.

— Ну вот: закончил работу в больнице и завтра, наверно, поеду дальше. Ты немножко пожалеешь, когда меня здесь не будет?

— А ты можешь всегда оставаться у нас, — говорит Нина.

Балтус наблюдает за Симоной. Она молчит.

Нина говорит:

— Скажи ему, мамочка, чтобы он остался здесь, я хочу, чтобы он остался с нами.

Балтус смотрит на Симону, он ждет знака.

— Понимаешь, ему хочется попасть на Балтийское море, Нина, так что нам придется его все-таки отпустить. Да и домой, где он живет с мамой, ему ведь тоже надо, а то мамочка его расстроится, — объясняет Симона, не глядя на Балтуса.

Балтус чувствует: небходимо немедленно сменить тему.

— Все уладится, — говорит он и старается придать своему голосу особую беспечную легкость, — а сейчас недурно, наверно, было бы съесть по шоколадному мороженому. Как ты считаешь, хранительница замка?

Балтус выбрал верную тактику: мороженое — самое действенное оружие, когда требуется отвлечь ребенка.

В кафе, кажется, все уж забыто. Симона и Балтус дурачатся с Ниной. Симона целует Балтуса, а Нина бьет от восторга в ладоши, отчего мороженое чуть не падает на пол. Они не замечают, с каким вниманием, симпатией наблюдает за ними пожилая чета, сидящая за соседним столиком. Видишь, говорит старик, такими вот, наверно, были когда-то давным-давно и мы с тобой, да, когда-то...

— Что сказала бы милая фройляйн, если б я пригласил ее сегодня вечером посидеть в ресторане за бутылкой вина?

Произнося эту торжественную фразу, Балтус удивляется сам себе. Сегодня утром у него было такое настроение, что ему, кажется, никак не могла бы прийти в голову подобная мысль.

— Я не заставила бы господина повторять свою просьбу, — отвечает Симона.

Без малого неделю не держал Балтус в руках гитару. Эта мысль невольно приходит ему в голову, когда Нина спрашивает, не споет ли он ей перед сном. И вот он играет последний раз для Нины, может, вообще последний раз...

Сегодня вечером он объяснится с Симоной непременно.

Симона надела длинное белое платье. Они бредут по парку, мимо замка, по узким улочкам и переулкам к пасторскому пруду.

Перед самым Клубом союза культуры Балтус спрашивает:

— Заглянем?

— Да можно.

Они садятся за столик. Ансамбль ветеранов играет популярные вещи пятидесятых годов. Один из музыкантов поет грубоватым сиплым голосом трогательную песню о каприйских рыбаках: белла, белла, белла Мария, помни меня вечно... Самозабвенно, тесно прижимаясь друг к другу, танцует на площадке несколько пар. Пять-шесть дам более чем зрелого возраста, пока не нашедшие себе партнеров, оглядывают присутствующих. Мужчин маловато, выбор исключительно скуден.

— Если б ты был здесь сейчас один, с какой пошел бы танцевать? — хихикая, спрашивает Симона.

— А вот с той.

Балтус незаметно указывает глазами на пышногрудую, щекастую рыжеволосую женщину; черное бархатное платье с широкими белыми рукавами делает ее похожей на гигантскую бабочку.

Симона громко смеется и говорит:

— А я тебе не верю. Сказать, какую бы ты выбрал?

— Ну-ну, даже интересно стало, не тяни!

Через несколько столиков от них, у окна, сидит девушка. Длинные черные волосы, черная юбка, красная блузка, а под блузкой... да, ей не стыдно показаться в бикини на пляже.

— А вот ее, — говорит Симона.

— Спасибо хоть, что не отказываешь мне во вкусе.

Ансамбль все еще играет песню о рыбаках, из дальнего угла кафе к столику пышной «бабочки» бодрым шагом устремляются два солдата. Один из них раскланивается, молниеносно поднимает рыжекудрую на ноги и

энергично ведет танцевать. Солдату с трудом удается двигаться в такт.

Второй солдат раскланивается перед черноволосой — и получает отказ.

Балтус раздумывает, как бы ему так направить разговор на то, о чем он размышлял всю последнюю неделю.

— Собственно, мы хотели сегодня, я думал, мы...

— Мне кажется, Балтус, нам надо отсюда уйти, мне здесь не нравится, — прерывает она.

— А теперь? — спрашивает Балтус, когда они выходят.

— В Доме дружбы сегодня, кажется, играет группа из Мейсена, давай заглянем.

Там народу хватает, это слышно уже на лестнице. Балтус бросает взгляд на Симону.

— Недурно, но мы собирались поговорить или как?

Симона молча берет Балтуса за руку и мягко увлекает к лестнице. И снова идут они по теперь уже опустевшим улицам, мимо замка, через парк.

— Ты сердишься, что мы не остались? — спрашивает Балтус.

Симона останавливается и целует его, так мимолетно, чересчур современно, и говорит:

— Будь моя воля, так мы бы сегодня вообще никуда не выходили, ты сегодня днем сказал...

— Сегодня днем, сегодня днем, в конце концов бывает, что человек может изменить свое мнение к вечеру, кроме того...

Поцелуй, которым она прерывает его, не из тех, что мимолетны.

— ...а если мы здесь простоим еще не знаю сколько, то покроемся росой, мне уже и сейчас холодно, — говорит Симона.

Балтус накидывает ей на плечи свою куртку. Они бредут домой. Впотьмах, стараясь не шуметь, поднимаются по лестнице. Им вовсе не хочется тревожить сон

фрау фон Бреденфельде. Наверху около двери в комнату Симона включает свет в коридоре.

У порога стоят туфли, которых там не было, когда они уходили из дому: вернулась Моника!

Балтус хочет нажать на ручку, но Симона удерживает его, прикладывая указательный палец к губам и показывая на туфли Моники. Балтус, увидев туфли, строит кислую мину. Симона удрученно пожимает плечами. Его лицо вдруг светлеет, кажется, его осенило. В ответном взгляде Симоны — вопрос и сомнение. Балтус показывает глазами наверх и делает приглашающий жест. Симона качает головой. В его лице — отчаяние и разочарование. Симона снимает туфли и аккуратно ставит их рядом с туфлями Моники. Она поворачивает выключатель. Темнота. Балтус чувствует, как она берет его за руку, мягко ведет вверх по лестнице.

Сквозь матовое стекло чердачного люка пробиваются первые, еще сумеречные лучи утреннего света. Рядом с походной кроватью лежат на двух матрацах Симона и Балтус. Он чувствует такое спокойствие, такую теплоту... Словно ветром унесло прочь все мрачные мысли о ближайшем будущем, так мучившие его последние недели. Там, где еще несколько часов назад был сплошной туман, теперь безоблачная ясность. Теперь он знает, что Симона испытывает к нему больше, чем просто симпатию.

Стараясь не потревожить ее сон, он осторожно просовывает руку ей под голову и достает сигареты, закуривает.

Теперь ему хочется поговорить.

— Ты знаешь, какая богатая история у этой походной кровати?

Симона не отвечает.

— Этой штуке добрых семьдесят лет. Брат вашей графини похрапывал на ней в Африке, разумеется, когда не был занят охотой на готтентотов. И угрызения совести не нарушали его безмятежный сон, в этом можно не сомневаться. Когда я подстригал кусты, ваша графи-

ня рассказывала мне, что ее брат служил под началом Леттов-Форбека...

Плечи Симоны вздрагивают, Балтус замолкает.

Она плачет. Он наклоняется к ней. Он изумлен и не знает, что нужно сделать. Хочет поцеловать ее. Она отворачивается.

— Что случилось, Симона, мне кажется, теперь у нас с тобой все хорошо...

— Что значит хорошо? Ты завтра, нет, теперь уже сегодня утром уезжаешь, — говорит она.

— Почему это я должен ехать, я думал...

— Что ты думал? Ты поедешь!

— Я думал, мы остаемся вместе.

— И как ты это себе представлял? Как это у нас может получиться?

— Ну, я работал бы здесь санитаром и снял бы в городе комнатку. И мы могли бы жить вместе. А позже, если у меня получится с учебой, ты поедешь со мной туда, куда меня направят.

— Так-то просто?

— Да.

— Ты забываешь, что я старше тебя и у меня есть Нина.

— Что значит разница в два года? А Нине я нравлюсь.

— Сколько девушек было у тебя до меня... я хочу сказать, ты кого-нибудь уже любил по-настоящему, то есть не только просто спал?

— Нет.

— А ты уверен, что любишь меня так, что твоей любви хватит больше, чем на месяц-два?

— Я в себе уверен, Симона, абсолютно уверен.

Теперь Симона наклоняется к Балтусу и целует его. Целует так, как матери целуют своих непутевых детей, когда прощают им какую-нибудь шалость. Это сердит Балтуса.

— Так ты, значит, считаешь меня бесхарактерным, бесхребетным слюнтяем?

— Нет, Балтус, ты не слюнтяй, ты просто фантазер.

— Это одно и то же, фантазер всего лишь благородный эвфемизм для слюнтяя. А я тебе говорю все совершенно серьезно, Симона.

— Я верю тебе, Балтус. Ты действительно говоришь совершенно серьезно, но это сейчас, в эту секунду. А с моей стороны было бы легкомысленно и эгоистично удерживать тебя.

— Я остаюсь!

— Нет, Балтус, ты должен ехать! — решительно и твердо говорит она.

— Почему же ты тогда поднялась ко мне наверх? Почему не сказала вчера просто и ясно: «Чао, большой привет, до свидания, Балтус, доброго путешествия, попутного тебе ветра, катись до самого Балтийского моря и передай там привет от меня всем тамошним рыбакам!»?

— Может, я и вправду неправильно поступила, что поднялась к тебе, не спорю. Ты мне нравишься, Балтус, больше, чем надо бы. Поэтому я хочу, чтобы ты ехал дальше.

— Это мне непонятно, Симона...

— Лучше я не смогу тебе объяснить, — говорит она и целует его так, что Балтус перестает вообще хоть что-нибудь понимать.

24

Это мне непонятно. Кому-то, может, и понятно, только не мне! Балтус, великий, одинокий мотоциклист без цели, снова мчит по бесконечным пыльным улицам, на север, на север, на север. Я выкину ее из головы. Просто напрочь выбью из головы всякую мысль о ней. Просто? Как это так — просто? Не прошло и трех часов, как я расстался с ней, по карте — всего несколь-

ко сантиметров, три, может, четыре, не поздно вернуться и сказать: так, милая Симона, вот он я, и никуда теперь я не уеду, и точка!

О чем я думаю? О Симоне! И каково мне? С каким удовольствием повернул бы я сейчас машину обратно! А почему я, собственно, считаю, что Симона испытывает ко мне такое же чувство, как я к ней? Почему, собственно? Потому что она плакала? Может, я для нее всего лишь маленький, миленький глупенький чудачок? Но почему она вчера поднялась ко мне на чердак? И плакала она совершенно искренне! Что-то я для нее, наверно, все-таки значу! Или это я себе все внушаю, потому что мне очень хочется, чтоб так оно и было?

Я выкину ее из головы!

Нет, завтра еду назад, становлюсь у ворот больницы и...

Она выйдет в своем белом платье, увидит меня, кинется на шею, осыплет цветами, с небес зазвучит орган, вокруг нас будет прыгать от радости Нина...

Теперь, пожалуй, надо малость сбавить до ста двадцати, не то можно отправиться прямиком на тот свет, без сопровождения органа.

А это еще что такое? Это явно не цветочки. Это вовсю старается гадкий моросящий северный дождичек. Не проваляйся я, не поспи часа три на чудненькой лужайке, не проваландайся с обедом в Штральзунде, вышел бы из этой дорожной истории. Куда бы только вышел-то? Чтобы куда-то выйти, нужно, вероятно, иметь какую-то цель. О, жестокость матери-природы, это уже не дождичек, а варварский северный ливень. В ближайшем поселке делаю остановку.

25

Последний желтый щит на обочине: до Люблина — 7 км. Поселок, по которому он сейчас проезжает, кажется каким-то заспанным. Неоромантики назва-

ли бы его идиллическим. Для полной идиллии не хватает, однако, органа. Но Балтусу сейчас не до органа. Ему срочно требуется крыша над головой, чашка горячего кофе, хотя бы чуточку тепла, чтобы согреться.

Тут он видит то, что ищет: ресторанчик.

Мотоцикл на стоянку, гитару под мышку, рюкзак через плечо и бегом к спасительной двери.

А на ней картонная табличка: «Зал снят, мест нет!»

Балтус слышит музыку и голоса.

Он решительно открывает дверь и входит. Пусто. Но за буфетной стойкой толстенький старичок наполняет шеренгу пивных кружек и бокалов.

Балтус пытается заглянуть в зал. Старик на северном диалекте, хотя и не вполне понятном поначалу, но звучащем куда приятней, чем иной южный, предупреждает, что зал снят. Продрогший, промокший до нитки, Балтус, в шлеме, с рюкзаком и гитарой, все же заходит в зал.

За двумя длинными столами сидят в основном молодые мужчины. Перед эстрадой, украшенной гирляндами, серпантином, разноцветными шарами, стоит на стуле магнитофон. В зале танцуют пары. Большинство присутствующих навеселе.

Среди танцующих Балтус замечает девушку в миртовом венке. Балтус догадывается, что попал на свадьбу, и хочет потихоньку уйти. Но не успевает, кто-то громко кричит:

— Смотрите, музыкант объявился!

В один миг Балтус оказывается в плотном кольце. Он пытается объяснить, что попал сюда совершенно случайно... Его просят остаться. Тот, кто первым обнаружил Балтуса, по-дружески кладет руку ему на плечо:

— Считай, что приглашен. И если ты добрый малый, то сыграешь нам что-нибудь.

Невеста протягивает Балтусу бокал с двойной порцией водки.

— Прошу тебя сыграть для нас. Ладно?

И для поощрения целует в щеку. Все восторженно ревут. Балтусу наливают еще рюмку водки. Он кладет свои вещи на стул, снимает шлем. Его угощают салями и прочими вкусными штуками. Он узнает, что здесь собрались строители крупной гидроэлектростанции. Невеста — газосварщица из комсомольской бригады, приехала из Нововоронежа, жених — молодой инженер-строитель из здешних мест.

Жених шутливо говорит Балтусу:

— Заскочить без спроса, расцеловать невесту, а потом удирать, нет, дорогой, так не пойдет!

Делать нечего, Балтус идет к магнитофону, выключает его и подвигает стул к сцене.

Пока он собирается сесть, на стул вскакивает парень.

— Ребята, прошу внимания, ребята... Прошу минутку тишины, одну минутку... Итак, от имени руководства молодежной организации нашего объединения приветствую и от души поздравляю молодоженов...

— Ура, ура, семь деток им кряду! — зычно кричит кто-то.

— Да помолчи ты! Итак, пусть этот прекрасный праздник станет поводом напомнить о том, как выглядело все года два-три назад...

— Да на что нам это? — вопрошает все тот же зычный голос.

— Да дай ты мне досказать-то! Так вот, песок и лес, лисы да зайцы и прочее всякое зверье — но ни одной, так сказать, действительно живой души.

— Да скажи просто, были тут чертовы кулички, и вся недолга, — подсказывает ему еще один зычный бас.

Но оратора не так легко сбить:

— А что сегодня? А сегодня, товарищи, мы постро-

или уже половину гидростанции и уже даем электричество. И можем этим по праву гордиться. Нет сомнений в том, что мы доведем дело до победного конца...

— А проглотить нам по отбойному молотку, если так не будет! — кричит кто-то, сопровождаемый оглушительными аплодисментами.

— Верно, так оно и будет. Но вы меня все-таки не перебивайте. Так вот: мы строим немецко-советский стройобъект, празднуем немецко-советскую свадьбу, это суть социалистическая интеграция в действии...

— Горько! Горько!

— Словом, друзья, я хотел сказать, что все будет хорошо...

— Но праздник ты все-таки изрядно подпортил, ни тебе обещанного оркестра, ни тебе культурной программы. Подай-ка нам балетную группу, желаем балерин!

— Все идет в гору, друзья, все. Конечно, честно скажу, мероприятие типа «экономии горючего» удается нам пока куда лучше организации интернациональной свадьбы. Но тут нам просто-напросто недостает практики. Но даю вам честное слово, следующую свадьбу мы проведем лучше. Итак, поднимем наши бокалы!

— Горько! Горько! Горько!

Пока молодожены основательно и неторопливо выполняют желание присутствующих, оратор слезает со стула, и Балтус берет первый аккорд.

Перед ним благодарная публика. Что бы он ни играл — блюз, народную песню или модный шлягер, — если слова им знакомы, они активно подпевают.

Скоро Балтусу начинает казаться, будто он давным-давно всех знает, со всеми здесь сроднился, что он полноправный член этой компании. Чему способствуют, конечно, и двойные порции водки, которыми его регулярно потчуют. Праздник заканчивается, когда выясняется, что жених и невеста незаметно улизнули.

По двое и по трое гости покидают зал, чуть пошаты-

ваясь и распевая песни. Балтус сует гитару в чехол. За ним наблюдает молодой человек.

— У тебя есть где переночевать, друг? — спрашивает он Балтуса.

— Пока нет, и если не произойдет чуда, придется искать себе дупло.

— Если хочешь, можешь пойти со мной в наш жилой вагончик.

Балтус охотно принимает предложение. Уже потому, что сейчас ему не хотелось бы оставаться одному.

Над дверью Балтус видит афишу, возвещающую о том, что известная столичная группа «Тоутл Глоубэл» дает три концерта.

На улице Балтус закрепляет на багажнике рюкзак.

— Ты, надеюсь, не собираешься ехать сейчас, с водкой-то в брюхе? Давай я буду подталкивать твой драндулет, — говорит тот, кто предложил ему ночлег в жилом вагончике. — Кстати, меня зовут Бернд, работаю на стройке инженером, — говорит он и толкает мотоцикл. Балтус и еще несколько парней идут за ним.

На следующее утро Балтус затрудняется определить, где он. В башке, кажется, устроило себе гнездовище целое муравьиное государство. Проходит время, прежде чем он прокручивает в своей памяти прошлый день: дождь, свадьба, его концерт, дорога лесом, Бернд...

Балтус поднимает голову и оглядывает вагончик. Он один. Бернда не видно. Он встает и нетвердым шагом идет к двери.

— Фу ты, ну ты, елки гнуты, ну у тебя и видок, создается впечатление, что ты того и гляди дуба дашь. Сунь голову в бочку с водой, это помогает, — говорит Бернд, который сидит за столом и перебирает какие-то бумаги.

Балтус следует совету Бернда и опускает голову в

бочку с водой. Раз, два, три. Ну и благодать! Муравьи в голове присмирели.

— Ну вот видишь, лучшего средства против похмелья, чем наша бочка, нет. Надо ее как-нибудь запатентовать. Если тебе полегчало, можем завтракать.

За полянкой блестит, искрится море.

Бернд ставит над стол две банки паштета, тарелку с маслом и хлеб. Достает из бочки две бутылки пива.

— Расскажи что-нибудь о себе. Ты, мне кажется, забавная личность. Гоняешь по стране на своей таратайке с гитарой за спиной. Кто ты?

— А что ты хотел бы услышать? Мою биографию?

— Рассказывай что хочешь. Например, какие у тебя планы.

— Определенной цели у меня нет.

— Страшно интересно. Но откуда ты явился, ты, наверное, знаешь.

Балтуса начинают раздражать эти вопросы.

— Еду я из Берлина, хочу деньков на несколько устроить себе каникулы, просто отдохнуть, и все.

— А чем ты занимаешься, когда не отдыхаешь просто так?

— Я только что сдал выпускные экзамены и хочу стать врачом.

— Так ты, выходит, спешишь теперь под знамена? На три или на меньше?

— Вообще ни насколько! — со злостью отвечает Балтус.

— Тогда, видно, ты исключительно изворотливый парнишка, коль скоро двинешь прямым ходом в институт.

— Я получил отставку, полгода назад переболел желтухой, но места в институте не получил и пока что даже не решил, что буду делать с первого сентября. Может, рассказать тебе, как я корью болел, каково мое социальное происхождение и аккуратно ли я выплачивал членские взносы?

— Ну зачем так резко, дружище? У тебя что-нибудь не в порядке? Ты похож на человека, который что-то ищет, но что именно, сам не знает. Есть такая порода людей, которые жаждут совершить что-нибудь выдающееся, вот только не знают что.

Балтус злится, он чуть не в ярости — ведь собеседник его не так уж и не прав. А этот тон!

— А ты, видно, кое-чего добился в жизни. Ну и, конечно, доволен собой. Весь-то такой правильный и примерный...

Но этого Бернда из себя вывести нелегко.

— Ну, может, не такой уж примерный, но кое-чего я все-таки добился, верно и то, что и собой доволен. В школе учился прилично, освоил ремесло бетонщика, отслужил три года во флоте, закончил техникум, теперь вот работаю инженером-строителем, работа спорится, так что причин быть недовольным у меня, собственно, нет.

Уверенность собеседника еще больше разъяряет Балтуса.

— Такие характеры мне нравятся, в тридцать уже ставят точку, всего-то они достигли, дальше ехать некуда...

— Послушай, Чарли, давай-ка зароем топор войны и раскурим трубку мира, — примирительно говорит Бернд.

— Меня довут не Чарли!

— Добро, но ты все равно послушай. Я подвожу черту. Ты типичный высокомерный абитуриент, витающий в облаках, из того сорта мнимых интеллектуалов, которые имеют рецепты разрешения любых проблем на свете, вот только самим себе не знают как помочь. Я закоренелый обыватель, таково твое предварительное суждение. За то и выпьем по последнему глотку!

Балтусу заключение не кажется лестным, но чем-то этот Бернд все же вызывает симпатию. Его уверенность даже чуточку восхищает. Они выпивают по последнему глотку пива.

— Делаю тебе предложение, дружище, — говорит Бернд, — давай махнем в Грайфсвальд. Вещи свои оставишь здесь еще на одну ночь, а завтра прыгнешь в седло и помчишь по прерии искать свое счастье. Годится?

— Годится.

Не проехали они и пяти минут, как начинает барахлить мотор. Они уже изрядно забрались в лес. Бернд садится на обочине и наблюдает за манипуляциями Балтуса.

— Похоже, карбюратор, — говорит Балтус.

Он разбирает его, продувает, снова собирает. Следует серия попыток завести мотор, после двенадцатой попытки он сдается.

— Что теперь? — спрашивает он Бернда.

— Отгоним твой самокат к Карлу, он живет в деревне, километрах в трех, не больше. Это мужик из нашей бригады.

Взмокшие от пота, они минут через сорок ставят мотоцикл перед разноцветной садовой оградой.

— Этот ваш Карл не работал, случаем, в цирке? — спрашивает Балтус, проводя пальцами по штакетнику.

— Скорей всего работал, да он и вообще замо́к с секретом, впрочем, сейчас сам убедишься.

Они идут в сад. Бернд первым. Чтобы попасть во двор, им приходится обогнуть дом. Женщина лет тридцати пяти сыплет курам зерно. Из сарая, стоящего в дальнем углу двора, доносятся ритмичные удары.

Бернд здоровается с женщиной.

— Мое почтение, Рита, это Балтус — невезучий мотоциклист.

— Ну и прекрасно, — говорит она улыбаясь и указывает на дверь сарая.

Балтус и Бернд идут в сарай. Там стоит человек лет под шестьдесят, как кажется Балтусу, и остервенело рубит сучковатое дерево. Завидя Бернда и Балтуса, он орет во всю глотку:

— Бог в помощь, орлы!

Потом идет к двери, осторожно выглядывает, возвращается, роется в поленнице и выуживает на свет божий бутылку корна. Привычным движением откручивает пробку, наливает маленький стаканчик, и все трое по очереди делают по изрядному глотку.

— А что ты за человек? — спрашивает он Балтуса.

Отвечает Бернд:

— Зовут Балтусом. Вчера вечером вдруг залетел к нам на свадьбу. Играет на гитаре и ездит на мотоцикле, а сейчас у него мотор забарахлил.

— Тогда оставайтесь у меня обедать, а ты заведи пока свой мотоцикл в сарай.

Когда Балтус закатывает машину в сарай, снова появляется бутылка. Они с удовольствием осушают по стаканчику.

Балтус, словно наездник, оседлал свою машину, Карл сидит на чурбане, а Бернд устроился на подоконнике.

— Послушай, дружок, я довожусь бригадным дедушкой тем, кто вчера праздновал свадьбу. Вообще-то я не пропускаю ни одного торжества или там праздника, где есть пиво и шнапс, но на такие вот бумажные свадьбы меня и на тракторе не затянешь, и даже на танке, это точно. Кому нужна эта бумаженция, если он и она любят друг друга?

Балтус удивленно слушает эту странную речь.

Двое детей, девочка лет пяти и мальчишка лет десяти, просовывают головы в дверь сарая.

— Карл, ты обещал, что мы пойдем сегодня на болото, хотел нам показать, как надувают лягушек.

Балтус пытается сообразить, кем могут доводиться дети Карлу. Судя по возрасту, Карл вполне годится им в дедушки, а женщине, которую они видели во дворе, — в отцы. Но дедушку ведь не называют по имени.

Карл отвечает детям:

— Слово не воробей, на болото пойдем после обеда, а сейчас дуйте отсюда.

Бутылку он прячет за спиной. Дети, довольно хихикая, убегают. Вскоре в сарай заходит женщина с корзинкой картошки в одной руке и большим чугуном — в другой.

— Вот вам три ножа, беритесь за чистку. Вы ведь остаетесь, ребятки?

Она ставит корзинку под ноги Карлу. Тот запихивает за спиной бутылку за ремень, обхватывает лицо женщины своими лапами и целует ее. Не так, как целуют отцы своих дочерей. С проворством восемнадцатилетней девушки она, смеясь, выбегает из сарая, когда Карл наконец ее отпускает.

— Почему же вы против бумажной свадьбы, если сами?.. — спрашивает Балтус.

— Ну нет, на «вы» со мной не надо, здесь у нас все на «ты». А что я против бумажных свадеб имею, это я тебе сейчас досконально все разъясню. Все, что происходит между мужчиной и женщиной, так или иначе связано с любовью и сердцем, а не с бумагой. Это ты можешь у Маркса и Энгельса прочесть. Рита моя жена, но мы с ней не расписаны. Сначала вся деревня чесала по этому поводу языки, ну а теперь держит их за зубами. Когда я три года назад въехал сюда, муж Риты как раз помахал ей ручкой, бросил ее с тремя детьми. А теперь я выступаю здесь сразу в трех ипостасях, и каждая мне по душе. Я и любовник, и отец, и дед. Старшей дочери девятнадцать, замужем, все чин чином, документы налицо, и маленький уже есть, тоже с документом.

«Что, этот Карл чокнутый или наоборот? — думает Балтус. — Во всяком случае, Карл человек необычный, да и симпатию вызывает».

Постепенно большой чугунок наполняется. Карл не умолкает: он вроде как цыган, не по крови, а по образу жизни. Сколько себя помнит, все на колесах. И сколь-

ко себя помнит, был строителем. Строил автобазы, Западный вал, в армии служил в стройбате, в плену возглавлял стройбригаду в одном совхозе, потом участвовал в строительстве Сталиналлее, возводил Айзенхюттенштадт, а теперь вот здесь.

Балтус уже почти твердо уверен, что Карл — личность и своеобразная и симпатичная.

Умывшись перед обедом во дворе у колонки, Карл уходит переодеться. Черный костюм, белая рубашка, красный галстук — в таком виде появляется он в по-старинному меблированной гостиной. За длинным столом Карл восседает в верхнем конце. На другом конце стола сидит жена, тоже с достоинством коронованной особы. Бернд и Балтус садятся по правую руку Карла, напротив — дети.

Подано кроличье жаркое с картофельным пюре и цветной капустой. Обедают под приглушенную торжественную музыку: по радио передают виолончельный концерт.

«Ну, брат Балтус, — думает Балтус, — такого ж просто не бывает, это ж в кино только можно увидеть, не хватает для полноты картины дворецкого в ливрее». Хотя обстановка и кажется ему несколько странной, тем не менее она производит на него сильное впечатление. Ему чудится, что через секунду-другую кто-нибудь прыснет. И ему стоит немалого труда, чтобы не сделать этого самому.

После обеда Карл отправляется с детьми на болото.

— Если останешься в наших краях на несколько дней, можешь рассчитывать на комнатку в нашем доме, разумеется, бесплатно, — предлагает Карл Балтусу.

— Большое спасибо за приглашение, я пока еще не знаю, что буду делать. В любом случае я зайду к вам завтра, чтобы привести в порядок свою машину, — говорит Балтус.

Балтус и Бернд неторопливо идут по шоссе к поселку строителей.

— Вот ты случайно и познакомился с нашим уникумом. Он немножко с приветом, может, даже больше, чем чуть. Когда в восемнадцать лет такие взгляды, это, в общем, в порядке вещей, но не в шестьдесят же восемь. А ты так не считаешь?

— Никакого привета я в нем не заметил, наоборот, — отвечает Балтус. — Да и как, собственно, должен вести себя человек в шестьдесят восемь, чтобы люди считали его нормальным?

— Если в пять лет хочешь стать машинистом или пожарником и между делом коллекционируешь кузнечиков или божьих коровок, если в тридцать хочешь стать исследователем Африки, Эдисоном или Эйнштейном — это нормально.

— Кто в восемнадцать думает: необходимо во что бы то ни стало переделать мир, и верит, что переделает, того я тоже не считаю сумасшедшим, но потом надо образумиться, — говорит Бернд.

Балтус не вполне уверен, серьезно ли говорит Бернд или хочет просто спровоцировать его. Он решает притвориться, будто принял Бернда всерьез.

— Что значит образумиться? Когда человек перестает мечтать и довольствуется достигнутым? Ты не сказал бы про Карла, что он с приветом, если б он бегал по деревне с крышкой собственного гроба под мышкой?

— Задержи дыхание, — говорит Бернд, — я и так знаю, что ты скажешь мне максимум через три минуты, а именно что я закоренелый и серенький обыватель или что-нибудь в этом роде.

До этого, однако, не доходит, потому что их обгоняют странные машины: разноцветный «рафик» и пара «Жигулей». Проехав метров триста, они останавливаются. Из последней машины вылезает шофер и бежит к Бернду и Балтусу.

— Наверное, хочет спросить, как ехать дальше, — говорит Бернд.

Но Балтус знает, что это не так. Ведь к ним бежит Гарри из «Тоутл Глоубэл», о чьих гастролях оповещают афиши.

— Старик, а я уж подумал, грежу. Как очутился ты в этом медвежьем углу?

Балтус удивлен не меньше Гарри, хотя он с вечеринки у Марины знает, что группа Гарри гастролирует где-то в этих краях. Наконец поехал он и для того, чтобы посмотреть их в деле.

— Давайте за мной, мы вас подбросим, — командует Гарри.

Не проходит и десяти минут, как три машины останавливаются перед вагончиком. Медленно рассеивается облако пыли, поднятое машинами. Оркестранты шумно приветствуют Балтуса.

Гарри снимает фирменную кожаную куртку и вешает ее на щит, на котором написано: «Посторонним вход на территорию площадки строго воспрещен! Родители, не отпускайте детей гулять одних!»

— А не устроить ли нам короткое праздничное шоу в этой северной пустыне, орлы! Кто за, доставай инструменты.

Ударник устраивается рядом с бочкой, остальные располагаются вокруг.

Гарри кланяется.

— Леди и джентльмены, без усилителя, без электроподогрева и сцены — гала-концерт в честь Балтуса, будущего члена нашей группы, и инженера Бернда, отважного созидателя энергетического гиганта...

Не сыграли они до конца и двух песен, как появилась публика: несколько девушек на велосипедах, и, громыхая, остановился грузовик с балками.

После третьей вещи гитарист подзывает Балтуса, вручает инструмент и говорит:

— Ну давай покажи, на что ты способен.

Гарри объявляет Сантану и считает — раз, два, три. Балтус показывает, на что он способен. Он играет исключительно трудное соло.

Гала-концерт заканчивается, когда публика пополнилась еще и пастухом со стадом овец и тремя бешено лающими овчарками.

Музыканты погружают инструменты в «рафик», грузовик выезжает на шоссе, девушки толпятся вокруг Гарри, пока наконец все не получают по автографу, овечье стадо, поднимая пыль, отправляется своим путем.

Гарри садится с Балтусом на ступеньки вагончика.

— Ну ты обдумал мое предложение? Мне необходимо знать поскорее. Если ты откажешься, мне надо срочно искать другого.

— Да я, знаешь, прикидывал, нельзя ли убить двух зайцев: чтобы и в больнице работать, и у вас играть. Но это, вероятно, вряд ли получится, или как?

— Ну, старик, больной зуб надо срочно рвать. Сам подумай: как можно совместить репетиции, поездки, выступления — сегодня в Берлине, завтра в Эрфурте, а послезавтра в какой-нибудь глухомани? Или с другой стороны: что за санитар из тебя получится, если с утра тебе надо бежать на репетицию, после обеда — на радио, а по вечерам, вероятно, раза два в неделю заниматься в музыкальном училище? И то и другое требует всего человека целиком, и музыка и больница. Нужно выбирать что-то одно. Или — или!

— Да, ты прав, — признает Балтус.

— Это точно, — говорит Гарри.

— После вашего последнего концерта в Грайфсвальде я тебе скажу, какой я сделал выбор. Столько можешь потерпеть?

— Хоть мне совсем и непонятно, чего тут, собственно, еще раздумывать, но столько я еще могу терпеть, о'кэй. Ты мог бы побывать и на других наших концертах. И подумай о том, что перспектива стать музыкантом отнюдь не самая худшая. — И Гарри как бы меж-

ду прочим показывает на «Жигули». — Итак, Балтус, загляни к нам на днях, ждем.

Балтус и Бернд сидят в вагончике при свете электрической лампы, сработанной под керосиновую, и ужинают.

— А ты, парнишка, меня изрядно удивил, — говорит Бернд, — если так же, как недавно с гитарой, будешь обращаться со скальпелем, я не моргнув глазом дам вырезать слепую кишку, гланды или чего там еще можно удалить...

— А кто тебе сказал, что я когда-нибудь стану врачом? В данный момент дела обстоят так, что я скорей уж стану музыкантом, — замечает Балтус.

— Да я же не собираюсь тебя уговаривать, но если ты всерьез мечтал стать врачом, то какая может быть альтернатива?

— Дорогой мой, спроси меня об этом лет через двадцать, тогда я, может, и отвечу.

— Порядок, предложение принято. Но вот еще. Ты как, завтра все-таки едешь дальше?

— Вообще-то я бы охотно остался еще на несколько деньков, не знаю на сколько, — нерешительно отвечает Балтус.

Бернд явно ощущает себя рыболовом, подсекающим солидного леща. Как бы невзначай, возясь с псевдокеросиновой лампой, он говорит:

— В последнее лето у нас работал один парень, тоже только что школу кончил, потом он устроился в газету в Ростоке. Внештатным корреспондентом, или как там это называется. Хочет стать журналистом. Неплохо, надо сказать, работал парнишка, да и заработал тоже неплохо.

— Что же мне, воспринимать эту информацию как своего рода предложение?

— Почему бы и нет?

— А почему ты его делаешь? Хочешь оказать мне помощь в плане развития личности или как?

— Ты переоцениваешь меня, старик. Я мыслю сугубо практически, таким уж, видишь ли, уродился. Если ты все равно пробудешь в наших краях несколько дней, да к тому же еще и своих друзей-музыкантов навестишь, поработай и с нами малость. К тому же и предложение Карла насчет комнатки остается в силе.

— Почему, собственно, и нет? Если ты считаешь, что я не угроблю ваши нормы, я согласен.

— Тогда по рукам, старик, а завтра ты можешь перебраться к Карлу.

26

Ах, Симона... Ведь я хотел стоять у твоей двери не позже сегодняшнего вечера. А теперь? Затесался на свадьбу, познакомился с забавным Карлом и хитрющим Берндом, подрядился немножко поработать на стройке. Чего только не может произойти за какието тридцать шесть часов!

Как часто в последние годы я изнывал от скуки. Всегда одно и то же: одни и те же учителя, одни и те же наставления, напоминания матери об обязанностях всегда одинаковы. Каждое утро подъем в одно и то же время, каждый день по одной и той же улице в школу, одиннадцать лет подряд.

Может, поэтому я и рисовал себе так часто всякие фантастические картины, а самого себя воображал пупом земли.

В те две недели, проведенные у тебя, в больнице, стеклянный колпак, под которым я до сих пор жил, дал, вероятно, трещину. А может, он лопнул, когда меня не приняли в институт? Во всяком случае, с тех пор как он треснул и в него попадает свежий ветер, все стало как-то зыбко. Но, как это ни странно, я не чувствую себя от этого хуже.

До сих пор за меня всегда решали другие, теперь

же я должен принять решение сам, никто мне не поможет.

Я сделал такое открытие. Когда я вчера уехал от тебя, настроение у меня было хуже некуда, потому что я не понимал и не понимаю, почему ты меня отослала. Я чуть было не повернул назад, еще не выехав за город. Я все время думал об одном и том же: о тебе, о тебе, о тебе. Но Бернд и Карл натолкнули меня на мысль, что когда сталкиваешься с жизнью, с незнакомой тебе жизнью, то замечаешь, что вовсе не являешься центром мироздания.

Наверно, это не бог весть какое открытие, но меня оно встряхнуло, и теперь я на все начинаю смотреть немного по-другому.

Ах, Симона, как все-таки мне хотелось бы сейчас быть рядом с тобой. Мне кажется, я вел себя как идиот. Да и что я, собственно, навоображал? Приду к тебе, скажу, что ты мне нравишься, потребую, чтобы мы были вместе. Но я ведь почти уверен, что я тебе совершенно безразличен. Иначе бы не рассталась со мной так легко. Напишу тебе лучше письмо, милая, милая Симона. Да, напишу тебе письмо... Ах, Симона, чего бы я только не дал, чтобы знать, не вспоминаешь ли ты сейчас обо мне.

27

Между тем Балтус перебрался в мансарду к Карлу, попытался привести в порядок мотоцикл, но без особого успеха — мотор хотя и заработал, но с перебоями. Утром они с Карлом приехали на стройку.

— Идем, — сказал Карл, — займемся делом.

Орудуя дюймовой линейкой, маленькими деревянными колышками и длинным шнуром, Карл умело отмечает края будущей десятиметровой ямы, пятьдесят в ширину и сорок сантиметров в глубину. Точно посереди-

ие Карл проводит прямую линию. Потом дает Балтусу лопату.

— Так, — говорит он, — я даю тебе шанс доказать, какой ты отличный парень.

Он ставит бутылку «Пшеничной» на пограничную линию и объявляет:

— Кто первым доберется до этой точки, тот и выиграл.

Итак, на старт! По команде Карла оба принимаются за работу. Балтус роет как одержимый. Карл сосредоточенно и вроде нехотя. Поначалу Балтус опережает Карла, но скоро начинает отставать, Карл же продвигается вперед спокойно и равномерно.

Когда Карлу остается до середины всего с метр, а Балтусу — не меньше трех, Карл садится на край траншеи, закуривает сигаретку и говорит:

— Расскажу тебе пока историю о самом великом землекопе всех времен. Когда мы ставили первые дома на старой Сталиналлее в Берлине, это в 1950 году, у меня в колонне был, доложу я тебе, один чудной малый; да у нас тогда и вообще-то одни чудаки работали. Мелкие и иные прочие сошки этого чертова Гитлера, бывшие учителя, чиновники, служащие, ну и всякая шантрапа. Тот, о ком я тебе собираюсь рассказать, был интеллектуалом, но, знаешь, со сдвигом, в общем, у него далеко не все были дома. Он все вспоминал о том, что строил ракеты, чтобы лететь на Луну, а нацисты уничтожили его ракетами пол-Англии.

Карл снова берется за лопату и продолжает:

— Да, это был самый мощный землекоп за всю историю человечества, бедняга. Если я утром говорил ему: вот Пауль, вырой яму полтора на полтора и метр в глубину, то он сразу бросался копать и рыл землю прямо как крот. К обеду был уже на глубине пяти метров, и мы вытаскивали его на веревке.

Карл добрался до черты с призом так, что бутылка мягко падает в его половину ямы. Он ловко подхваты-

вает ее на лету, целует, ставит сбоку траншеи и продолжает рыть навстречу Балтусу, которому осталось еще метра полтора. Когда остается сантиметров двадцать-тридцать, Карл объявляет:

— Дамы и господа, через несколько секунд вы станете свидетелями исторического мгновения. Строители подземного туннеля с двух сторон приближаются к середине этого гигантского сооружения. Сейчас произойдет стыковка.

В этот момент рушится тонкая глиняная стенка, разъединяющая Балтуса и Карла. Карл подает Балтусу руку.

— Хоть и с носом остался, Балдуин или как там тебя величать, но рыл, надо признать, недурно. Поздравляю, так сказать, с землеройным почином.

Вечер. Танцевальное кафе курортного местечка, о котором всякий не прочь сказать в сентябре: ах, а мы в этом году опять были в... — после чего собеседники пялят на него глаза...

Перед входом царит небезопасное оживление. Добрая сотня молодых людей осаждает дверь, но та крепко заперта. Иногда она чуть приоткрывается, и через узкую щель внутрь протискивается очередная партия жаждущих. Чтобы дверь не распахивалась под напором толпы шире необходимого, она снабжена массивной цепочкой.

Балтус подъезжает на мотоцикле.

Он на собственном опыте изведал, сколь вредной для здоровья может быть такая давка. Поэтому он пытается попасть с черного хода. Его незамедлительно пропускают, когда он говорит, что тоже выступает.

Музыканты уже приступили к установке аппаратуры. Гарри и другие члены ансамбля приветствуют Балтуса.

— Молодец, что пришел, сегодня сыграешь с нами

несколько вещей, для аппетита, так сказать, — говорит Гарри.

Не говоря ни слова, Балтус протягивает Гарри ладони: мозоли и пузыри, пузыри и мозоли.

— Я побуду лучше среди зрителей, послушаю вас из зала.

— Ладно, с твоими руками действительно не сыграть даже на барабане, но после второго антракта зайди на сцену, поделишься впечатлениями.

Балтус не спеша идет по проходу, видит и тех, кто был на свадьбе. Он садится за столик, где сидят четыре парня и девушка. Подходит официант, ставит двадцать бокалов пива и сообщает, что с них одиннадцать марок.

— Мне бы тоже, — говорит Балтус.

Один из парней протягивает через стол официанту двенадцать марок и говорит Балтусу:

— Ты, похоже, нездешний, не то знал бы, что шеф показывается здесь раз в два часа, поэтому нужно заказывать сразу двадцать кружек.

Концерт начинается. В первые минуты Балтус смотрит на танцующих, потом его все сильней и сильней захватывает музыка. Он закрывает глаза, отчетливо различает отдельные инструменты, следует за мелодией: «В свисте ветра слышу имя Мэри» Джимми Хендрикса.

А может, я просто рехнулся на этой мысли стать врачом? Когда я вижу и слышу этих парней на сцене, мне же отчаянно хочется играть с ними. Разве я уверен, что стану хорошим врачом? Не лучше ли быть хорошим музыкантом, чем посредственным врачом, у которого всякий раз будут руки чесаться, стоит ему увидеть или услышать гитару?

Балтус чувствует, что у него и вправду зачесались руки, его пальцы бегают по струнам гитары. Ах, этот ветер, поющий о Мэри.

Во втором антракте Балтус отправляется за кулисы. Один из музыкантов говорит, что Гарри вышел поды-

шать воздухом. Балтус идет мимо длинного ряда пляжных грибков, с моря дует холодный бриз. Возле одного грибка Балтус видит Гарри. Но тот не один, в подобный момент деликатный человек не станет спрашивать, который час. Балтус не спеша возвращается в ресторан.

— Ну что, нашел? — спрашивает его кто-то.

— А как же. Привет ему, я обязательно появлюсь на одном из ваших последних концертов, — говорит Балтус и уходит.

Он садится на мотоцикл. Мчится один по проселочной дороге и ловит себя на мысли: если гнать во всю мочь, через два часа буду в Шверине. Тут мотор снова начинает чихать.

Он сознает, что мысль, только что возникшую, теперь не осуществить. Не только из-за неисправного мотоцикла. Очутись он сейчас, за полночь, перед дверью Симоны, вряд ли он нашел бы самые нужные, верные слова.

Обеденный перерыв. Карл сидит на лесенке, спущенной из вагончика на землю.

На двери за его спиной парень из их бригады приколачивает маленькими гвоздями красиво нарисованную табличку: «Молодежная бригада имени Че Гевары».

Нарезав изрядное количество хлеба для бутербродов, Карл кладет на приступку перочинный нож и, приподняв голову, оборачивается, чтобы прочесть надпись на табличке.

Теперь все парни, среди них и Балтус усаживаются завтракать за длинный стол, стоящий рядом с лесенкой, на которой сидит Карл. Карл указывает ножом на табличку:

— Под такой вывеской мне как-то невместно сидеть, а, ребята? А вы знаете, что я уже не меньше сорока лет работаю только в молодежных бригадах? Не знаете? Ну и наплевать, что не знаете, лишь бы не заставляли

надевать по праздникам короткие штанишки и пионерский галстук.

Бернд садится рядом с Балтусом.

— Ну как, был вчера у своих битлзов?

Балтус кивает.

— Ну и?

— Что ну и?

— Чего прикидываешься? Выбор-то сделал? В медики или в поп-звезды?

— Еще нет. В конце концов, несколько дней в запасе у меня есть. — О том, что чуть было не согласился на предложение Гарри, он умалчивает.

Бернд чувствует, что Балтусу не очень-то хочется продолжать эту тему.

Перерыв близится к концу. Один из парней прикрепляет записку к доске объявлений. Карл подходит ближе и читает вслух:

— «Комсомольское собрание на тему: «Революция на современном этапе».

Он спрашивает парня:

— Вы, может, надеетесь, что я тоже заявлюсь?

— Да ну, Карл, мы же не такие самонадеянные, чтобы думать, что такой старый занятой человек станет обкрадывать себя на два часа драгоценного времени, — говорит Бернд.

— Да и что мог бы ты сказать, Карл? Нет, считай, что тебе повезло, послезавтра можешь пораньше уйти домой, можешь ощипать на досуге свои кусты или лишний раз показать своим ребятишкам, как соломинкой надуть лягушку, — советует Уве, патлатый, как неухоженный лев африканской пустыни.

Расчет оказался верным. Карл клюет-таки...

— Да что ты говоришь! Это я-то никакого понятия не имею? Если тут кто и не имеет понятия, так это вы, зеленые юнцы, да, сплошной нуль, круглую баранку знаете вы о революции. Оно, конечно, толковать о ней вас медом не корми, трепаться вы можете, красивые

слова говорить, да еще деньги за них получать — это точно, это вы мастаки, герои... Раньше дело чуть поиному обстояло. И классовые бои были посуровей, и враги позубастей, откровенней все было, потому что все время чувствовали и чем кулак пахнет, и легкость была в заднице от кованого сапога.

Парни, довольные, подмигивают друг другу. Карл придет на собрание. Что бы это было за собрание без Карла?

Но тут происходит нечто неожиданное.

Балтус, не знакомый с правилами игры, решает «подковать» Карла идеологически.

— Ты, конечно, верно говоришь, Карл, раньше все было откровенней, но неужели ты и в самом деле станешь утверждать, что сегодня нет уже ничего революционного, у нас то есть? Я считаю, нам сейчас тяжелей, чем вам было, вы могли, должны были смотреть врагу в лицо, вы знали, кого надо бить. И наряду с опасностью и страданиями были и приключения, романтика. Конечно, то, чем нам приходится заниматься сегодня, тоже необходимо, чтобы двигать вперед революцию, но это не всегда романтично. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Бернд делает Балтусу знак, чтобы он прекратил, но поздно.

— Во-во, кроме тебя, меня некому поучать. Болтаешься по миру, как собака без хвоста, не знаешь даже кем стать — ветеринаром или громыхать на эстраде, молоко еще на губах не обсохло, а туда же — поучать лезешь... ты — меня...

— Ну а теперь глотни побольше воздуха, Карл, — вмешивается Бернд, — а то будешь чересчур во многом прав. А упрекать Балтуса, что он пока несовершеннолетний, не спортивно. Так что успокойся, остынь. А уж послезавтра на собрании сполна можешь все выдать.

— Размечтались, — бормочет Карл. Его бормотание смахивает на первый весенний гром.

Балтус понял, что, мягко говоря, тактически оплошал. Карла так просто не убедишь. Забавная личность, этот Карл. Балтус, вот уже несколько дней живет у него в мансарде, изумлен бурной реакцией Карла, но еще больше тем, как тот на него набросился.

Смущаясь, Балтус спрашивает Бернда:

— Если я не ошибаюсь, Карл очень разозлился, не выкинет ли он сегодня вечером мой рюкзак и гитару?

— Плохо ты знаешь нашего Карла! Он хоть и бушует как торнадо, но не злопамятен.

В этом Балтус убеждается в конце рабочего дня.

— Эй, Балтус, возьмешь меня еще разок пассажиром на свой драндулет или жестокосердно и безжалостно вынудишь топать пешком? — спрашивает Карл, когда Балтус, фыркая, моется у бочки с водой.

— Возьму, конечно, но с условием, что ты не выбросишь меня из мансарды.

— Ну это мы еще поглядим, — ухмыляясь, отвечает Карл.

После ужина Балтус получает еще одно подтверждение расположения Карла. Карл разворачивает небольшой пакет, который принес сегодня почтальон. В нем оказывается целая стопка разноцветных почтовых открыток. Он просматривает их все, каждую в отдельности.

— Вот чертяка, — начинает он ругаться, — полюбуйся-ка! На всех открытках один и тот же мотивчик. Тут у меня, понимаешь, весной квартировал один фотограф, грозился сделать почтовую открытку с видом на Балтийское море, чтобы оригинально было, понимаешь. И вот тебе, так сказать, результат!

Он протягивает Балтусу открытку: берег Балтийского моря, на заднем плане кривые сосны, за ними у пристани рыбацкие баркасы, а на самом горизонте ныряет в море багрово-медное солнце.

— Вот, — говорит Карл, — забирай их все, дарю на память, на добрую и светлую.

— Спасибо, мне хватит трех, остальные можешь оставить.

— Бери, бери, а то я их все равно выброшу на помойку, а этого бездаря, если он вздумает явиться ко мне, свиньями затравлю.

Балтус уносит всю пачку открыток в мансарду. На следующее утро, прежде чем отправиться с Карлом на стройку, Балтус идет к почтовому ящику и опускает в него три открытки. Одна — в Фельдберг со стандартными дружескими приветами Тине и отцу с берега моря.

Вторая — Нине:

«Моя дорогая Нина! Не забыла ли ты мои колыбельные песенки и сказки на сон грядущий? Помнишь ли ты еще меня? Скажи маме, что скоро я напишу ей длинное-предлинное письмо. И поцелуй ее за меня.

Огромный тебе привет с моря, за которым живут эскимосы.

Балтус».

Он медлит мгновение, прежде чем опустить в желтый ящик эту открытку. Надо было все-таки еще одну написать, ну да ладно, все равно ведь скоро напишет Симоне длинное, подробное письмо.

Третья открытка предназначена для матери:

«Дорогая мамуля!

Чтобы ты не думала, что я пропал без вести, на скорую руку пишу несколько строчек. У меня все в порядке, в воскресенье вечером буду снова дома.

Твой Балтус.

P. S. Так как вернусь с целой кучей денег, — не волнуйся, заработаны честно! — приглашаю тебя уже сейчас на ужин в «Линденкорсо».

Днем еще одна идея осеняет Балтуса: вечером поехать к Гарри и спросить, нельзя ли привести на концерт в пятницу всю бригаду.

Пятница.

Гарри оставил для них отдельный стол.

Балтус явился со всей своей командой, включая Карла и его супругу.

Звездой вечера становится однако вовсе не Балтус, играющий сегодня в ансамбле, нет, звезда сегодняшнего вечера — Карл.

В центре круга танцует Карл со своей женой. Движения его, честно говоря, не совсем в ладу с музыкой, но стиль... аристократ бы позавидовал.

Один из юных аборигенов пытается поднять его на смех.

— Во дед дает, прямо из сказки какой выпрыгнул, что ли? Не то что танцам, алфавиту, наверно, не обучен. На афише-то черным по белому написано, что это молодежный танцевальный вечер, а не бал для пенсионеров!

— Заткнись ты, щусенок зеленый, не то щас зубы враз повыставляю, — говорит Уве.

Обмен любезностями не остается без последствий. Уве выводит своих товарищей в садик, где их уже поджидают друзья «щусенка». Карл появляется на «поле брани», когда садик превратился в ристалище. В зале ансамбль Гарри играет «Дайте миру шанс», и в садике великолепно все слышно.

Карл отдает жене пиджак и с упоением кидается в драку. Пожалуй, постороннему наблюдателю показалось бы, что схватка доставляет драчунам одно удовольствие.

Вдруг раздается пронзительная полицейская сирена. Карл кричит:

— Лауренсиа, Лауренсиа!

Мгновенно картина меняется: в какие-нибудь десятки секунд поставлены на место опрокинутые столы и садовые скамейки, друзья и враги, схватившись за руки, образуют круг и нестройно, но убедительно тянут:

— Лауренсиа, Лауренсиа, милая Лауренсиа моя...

Полицейский идет прямо к Карлу, старательно сгибающему одно колено.

— Вахмистр Кобров, добрый вечер! Позвольте спросить, что здесь происходит? В участок сообщили о драке.

— Секундочку, — извиняющимся тоном говорит Карл и берет из рук жены пиджак. Надев пиджак, представляется: — Карл Гросс, член молодежной бригады имени Че Гевары.

Вахмистру все это кажется подозрительным.

— Я хотел бы знать, что здесь происходит, — повторяет он.

В зале все еще играют «Дайте миру шанс».

— Значит, по порядку! — говорит Карл. — Происходят здесь, собственно, две вещи: во-первых, мы, как классово сознательные рабочие-строители, пытаемся установить максимально тесный дружественный контакт с местным населением, а во-вторых, мы собственноручно поддерживаем традицию классической народной песни, что в данном конкретном случае опять-таки способствует установлению теснейшего контакта с...

— Хорошо, хорошо, можете не продолжать, прошу всех немедленно пройти в зал, — говорит полицейский.

«Дайте миру шанс...»

Танцевальная пауза в зале. Бригада сидит за столом, к ним подсели и парни, несколько минут назад сражавшиеся в рядах местных. Чествуют Карла.

— Дружище, ты гигант, просто конец всему, если хочешь, можешь врезать, как тебе угодно, — говорит Карлу тот, кто своими глупыми насмешками дал повод для потасовки.

— Да будет тебе, пацан, не суетись, — добродушно отвечает Карл.

В эту минуту к столу подходит Балтус, и Карл слегка отступает на задний план.

— Ну, Балтус, ты, однако, силен, что твой Джимми...

— А говоришь, не знаешь кем стать, ты ведь уже стал.

— Если б я мог играть на гитаре, как ты, я б...

Для Балтуса эти речи как бальзам.

К нему уже протискивается стайка девушек и требует автографы. Это Балтусу не очень-то по душе. Ему становится неловко, он пытается отделаться от них, но они не отстают. А Бернд сует ему еще и шариковую ручку...

— Ребята, — говорит Карл, — сегодня у нас скромный будний день, а завтра в пять утра ночь откукарекает нам последнее прости. Ровно в шесть приступаем к очередному раунду планомерного строительства социализма на стройплощадке, так что, будь я ваш отец, я бы вам сказал так: через полчаса всем по домам!

Раздается свист, кто-то кричит, что к шести-то уж точно разойдутся.

Карл с женой уходит раньше всех.

Балтус снова стоит на сцене и играет. Он смотрит, как уходят ребята один за другим, многие с девушками. Симона, была бы ты сейчас здесь, послушала, увидела...

После того как сыграна последняя вещь, Гарри говорит:

— Ну вот, теперь мы убедились, что ты нам подходишь. Сегодня ты выдержал экзамен. Не хочу оказывать на тебя давление, но в воскресенье тебе придется дать ответ.

Балтус находится еще под впечатлением концерта, как бы плывет по волнам музыки, так что он мог бы не колеблясь и сейчас сказать Гарри «да». Это был для него великий вечер. Ведь он играл с одним из лучших ансамблей и с честью выдержал испытание.

— Я приду в воскресенье, — говорит Балтус, и Гарри почти не сомневается в ответе.

Ребята разбирают аппаратуру, Балтус так активно и с таким знанием дела включается в это мероприятие, будто ничем другим всю жизнь и не занимался.

28

Иногда я пытаюсь представить себе, какими выдались бы для меня последние четыре недели, останься я в Берлине. На что-либо выдающееся фантазии у меня не хватает, но одно я знаю совершенно твердо: эти недели были бы скучными. Я не познакомился бы с Симоной, не узнал бы Карла...

Да, мысль о путешествии пришла явно в благословенную минуту. За последние дни я почти совсем забыл о причине своего внезапного отъезда из Берлина. И вот через три дня надо сделать решительный выбор, определить направление! Звучит-то как здорово!

Но одно уже совершенно ясно: теперь я могу думать об этом спокойней. Я больше не мучаюсь мыслью, что я такой неудачник, что у меня не сразу вышло с институтом.

Теперь ситуация иная. Я вижу перспективы: больница, быть может, в Шверине, Симона. Да и Гарри с его ансамблем совсем не призрачная мечта. Осталась одна проблема — проблема выбора. И выбора без чьей-либо подсказки. Не потому ли отослала меня Симона, что не хотела как-то повлиять на меня? Как же не пришла мне эта мысль еще той ночью?

Итак, выбор должен быть сделан через три дня.

И все же: не упрямством ли и душевной инертностью объясняется неспособность или нежелание человека отказаться от своих идеалов? Я должен честно признать, что те два раза, когда я как равный играл в ансамбле Гарри, были огромным наслаждением, год или два я с большим удовольствием поездил бы с ними по стране. Не из-за «Жигулей», нет.

Но неужели не будет врача Балтуса? И разве можно так и расстаться с мечтой о Тимбукту, пусть даже он и оказался бы в конечном счете где-нибудь под Мекленбургом? Балтус, старик, дело-то принимает наисерьезнейший оборот! Осталось три дня, всего три дня! Что-то меня закурить потянуло. Есть ли сигареты? Есть. Вот только спичек нет.

29

Балтус проворно спрыгивает с кровати, идет с незажженной сигаретой, в халате, наброшенном на плечи, босиком вниз по лестнице на кухню. Находит спички, собирается прикурить, в это мгновение видит Карла в ночной рубашке.

Словно лунатик подходит он к холодильнику, достает бутылку пива. И говорит совершенно спокойно: а ты хочешь? Балтус хочет. Они пьют. Карл садится на стол и жестом предлагает Балтусу последовать его примеру.

— Ты не подумай, что я тебя тогда хотел обидеть — «хвостом», «молокососом» и прочее...

— Да ты в конце концов был не так уж не прав, я и вправду до сих пор не могу решить, чем мне заняться.

Карл еще раз лезет в холодильник и, словно кудесник какой, выуживает оттуда початую бутылку водки. Сначала делает глоток сам, потом протягивает бутылку Балтусу.

— И что бы ты мне посоветовал, Карл?

Прежде чем ответить, Карл отпивает еще глоток.

— Мне дать тебе совет трудно. Музыкант — это, конечно, солидно. Я ведь видел, что людям понравилось, как ты и твои ребята играли. И вообще, без музыки жизнь была бы серой, как крыса. Я, например, утром когда бреюсь, и то это понимаю, потому что бритва и жужжит, знаешь, как-то музыкально. Людям, которые

могут создавать и исполнять музыку, я всю жизнь завидовал. У меня был один знакомый, здорово играл на губной гармонике, это еще в плену было.

Оба отпивают еще по глотку.

— Проблема, Карл, у меня такая. Врачом я хочу стать с десяти лет. Ради этого в школе вкалывал как сумасшедший. Я воображал себя только врачом и никем иным, врачом, и только врачом. А теперь вот не получил места в институте. Не потому, что глуп. Три человека на место — как ни выбирай, а два все равно лишние, и одним из этих двух оказался я. Правда, у меня есть еще шанс, с сентября можно пойти в больницу санитаром, а на следующий год снова подать заявление. Но кто даст гарантию, что мне повезет?

— Ах, вот ты каков, гарантии ему, видишь ли, подавай. Это тебе, братишка, надо к часовщику, тогда уж наверняка получишь гарантийный документ. Но и тут есть своя загвоздка, потому что эта гарантийная бумажка не более чем бесплатный ремонт, да и то лишь на ограниченный срок. Ну что вы все такие тусклые-претусклые светлячки? Кидаетесь так на гарантии? Ты хоть слышал когда-нибудь о риске? Так вот риском-то жизнь как раз и интересна.

Карл гасит ораторский жар глотком водки.

— А теперь я тебе вот что скажу, парнишка. Если человек действительно хочет чего-то добиться, по-настоящему хочет, то обязательно добьется. В конце концов мы теперь не как раньше живем. У кого в наше время в голове мозги имеются, а не мякина, и если у кого есть воля, тот добьется чего хочет. Понятно тебе?

Сказать, что в голове у Балтуса установилась полная ясность, — значит погрешить против истины, потому что пиво и водка дают о себе знать. Но слушать сейчас Карла он мог бы и час, и два. Правда, речь Карла течет уже не так плавно. Он вместе со стулом придвигается вплотную к Балтусу.

— Хочу тебе чуть-чуть о себе рассказать, парнишка... Я всю жизнь мечтал строить дома, мосты, башни, туннели, это, скажу я тебе, великое дело, минуют зимы, минуют лета, увидишь как-нибудь и скажешь — вот это я строил, это моих рук дело, и я всю жизнь строил, строил, строил. Знаешь, что бы случилось, если б все кирпичи, весь раствор и бетон, которые прошли через эти вот руки, растворились вдруг в воздухе, знаешь, чтоб тогда произошло? Полстраны завалило бы! А теперь я тебе вот что скажу: если ты уверен, что несколько сот людей вынуждено будет загнуться до срока только потому, что ты не станешь врачом, тогда ты просто обязан стать врачом.

Они по-братски делят оставшуюся в бутылке водку. Карл не без усилия поднимается со стула, берет Балтуса за локоть.

— Идем со мной, хочу тебе кое-что показать.

Они спускаются в подвал. В свежепобеленном помещении за стеклом полок, укрепленных на всех четырех стенах, можно видеть кирпичи самых разнообразных сортов и бетонные кубики. Каждый снабжен маленькой металлической табличкой, на которой указаны место и дата.

Карл искоса наблюдает за Балтусом. Балтус рассматривает экспонат за экспонатом.

— Начиная с 1945 года с каждой стройки, на какой бы ни работал, я брал себе на память в день закладки кирпич или кубик. Теперь ты, может, считаешь меня сумасшедшим...

Хотя Балтус не совсем трезв, музей Карла произвел на него громадное впечатление.

— Карл, дружище, все собиратели марок, монет, пивных подставок, бабочек с ума сошли б от зависти, доведись им увидеть твою коллекцию! Честное слово, такого сокровища я еще ни у кого не видел!

— Ну а сумасшедшим ты меня все-таки считаешь, признайся, а? — спрашивает Карл.

— Да ты что, рехнулся?

Они поднимаются по лесенке, возвращаются на кухню. Находится еще одна бутылка пива, которую они дружно опустошают.

Карл еще плотней подвигается к Балтусу, слово собирается поведать ему неслыханную тайну.

— Знаешь, что я сделал бы, будь мне сейчас лет восемнадцать или двадцать? Я бы пошел учиться, учиться на архитектора. Знаешь, меня в дрожь бросает от злости, когда вижу эти современные «птичники». Сразу ясно, так сказать, невооруженным глазом видно, что у нас вообще архитекторов нет.

Карл подвинулся еще, теперь он говорит прямо в ухо Балтусу.

— А если б жил на Западе и было мне годков двадцать, да, стал бы террористом. Вот ты удивляешься, а я очень даже понимаю этих людей, я хорошо могу себе представить, почему там иному невтерпеж.

— Но терроризм... — Балтус хочет приступить к пространному объяснению.

— То, что терроризм ничего не дает, я и без тебя знаю, но я их понимаю... Так, а теперь тащи свою гитару, одна нога здесь, другая там, и наоборот!

— Сейчас-то, среди ночи?

— Ну что тебе, два раза повторять?

— Мы ж всех перебудим!

— А кто здесь хозяин в доме?

Делать нечего — Балтус идет в мансарду. Карл выходит во двор, с минуту стоит у сарая. Едва он заходит обратно на кухню, появляется и Балтус с гитарой.

— Знаешь, что мне сыграй, — «Ла палому»!

— Карл, твоя жена устроит нам такую «Ла палому», что...

— Кому я сказал, играй «Ла палому», не то я в самом деле с ума сойду, — грозится Карл.

Балтус тихонько играет. Карл поет, сначала вполголоса, а потом все громче и громче... каждого ждет в жизни час...

Как из-под земли появляется жена Карла и спокойно спрашивает:

— Вы что, оба спятили?

Покорно, как овечка, Карл следует за ней. Балтус возвращается в свою комнату не очень уверенно, и в прямом, и в переносном, и во всех иных смыслах.

30

Утро вечера мудренее...

Для меня что-то изменилось за ночь. В голове у меня что-то тяжелое, вроде как свинец. Сегодня у меня последний рабочий день на стройке, а то бы я обязательно прогулял.

Завтра я еще раз разберу свой карбюратор самым тщательным образом, мотор барахлит, с таким мотором отправляться в дальнюю дорогу рискованно. А сразу после обеда отчалю, завтра...

А куда?

В Берлин? В больницу?

Или в Грайфсвальд, к Гарри?

Завтра вечером должен быть сделан выбор!

Одно ясно: и то и другое требует человека целиком. Музыканта, который походя стремится выбиться в медики, такого музыканта не будет; не будет и того «умника», который обходным маневром через санитарную службу больницы хочет стать врачом, а между делом имитирует Хендрикса.

Да, завтра я доберусь до того перекрестка, где стоят два указателя. Налево — Берлин, прямо — Грайфсвальд.

А Симона?

Я до сих пор не написал ей. Непременно напишу,

когда снова окажусь в Берлине, когда выбор будет сделан.

Что сталось с тем самоуверенным, непреклонным Балтусом, который с такой дерзкой самонадеянностью в графе «резервная дисциплина» снова писал — «медицина»? Балтусом, который на вопрос, так ли он уверен, что ему подходит только медицина, упрямо отвечал, да, она самая, и ничто другое?

Тот ли я теперь Балтус, что воображал себя наследником Альберта Швейцера в Ламбарене? Тот ли я теперь Балтус, что клялся когда-то встретиться с двумя закадычными друзьями в Тимбукту, чтобы предложить свою многомудрую ученую помощь африканцам?

После великой речи Карла о гарантийных документах я выгляжу как-то не по возрасту старым.

В сравнении со мной этот Карл, надувающий через соломинку лягушек на болоте и коллекционирующий кирпичи, — юнец.

Действительно ли так уж мудро и революционно менять проторенный, надежный путь с гарантированно обеспеченным финишем на тернистый, гарантированно тернистый?

О, как хочется мне знать, как я буду выглядеть перед зеркалом в тридцать! Я имею в виду не только внешний облик...

31

Суббота. Сегодня он едет. С Карлом и его семьей он уже попрощался. Балтус только что подъехал к вагончику Бернда и ставит мотоцикл. И вот на столе аккуратно разложены на суконной тряпочке гаечный ключ, отвертка, клещи, маленькая проволочная щетка...

Бернд стоит между мотоциклом и столом.

Посмотрел бы кто на них сейчас, подивился бы.

На Балтусе халат, надетый задом наперед. Бернд застегивает ему сзади пуговицы. Балтус становится в позу оперирующего хирурга рядом с мотоциклом, протягивает вперед руки, растопыривает пальцы.

...Профессор Зауэрбах, великий хирург, за несколько минут до смелой, виртуозной операции, спасает жизнь пациента, за которую никто б уже не дал и ломаного гроша...

— Отвертку, — говорит Балтус.

Бернд подает ему отвертку.

Балтус откручивает гайки с крышки карбюратора и молча возвращает инструмент.

— Тряпку!

Он протирает поплавок.

— Иглу!

Он выставляет жиклеры против солнца, протыкает их иглой.

— Гаечный!

— Держи!

— Свечевой!

— Получай!

— Щетку!

— На здоровье!

Операция заканчивается тем, что Балтус нажимает на стартовый рычаг. Только раз. Мотор сразу заводится.

— Операция удалась, дыхание нормальное, пульс тоже, пациент в хорошем состоянии, — подытоживает Бернд.

— Тогда можно отправляться, — говорит Балтус, пристраивая рюкзак на багажник. Он напяливает шлем и закидывает за спину гитару.

— Ух ты, чуть было не забыл, — спохватывается Бернд и исчезает в вагончике. — Вот, это вчера оставил для тебя Карл, чтобы я тебе передал, когда ты будешь уезжать, наверняка какая-нибудь хохма, тяжеленное что-то, как кирпич, — говорит Бернд и подает Бал-

тусу завернутый в фольгу предмет, приблизительно с сигарную коробку.

Балтус разворачивает сверток. И видит кирпич, на нем еще сохранились следы раствора. Он поворачивает кирпич: «Берлин, 14 февраля 1949 года, последний кирпич из развалин усадьбы Андреасштрассе — угол Сталиналлее, мы строим здесь первые послевоенные дома».

Бернд, стоящий чуть поодаль, не может прочесть надписи.

— Не сердись на него, на нашего Карла. Просто он шутить любит, медом не корми, — говорит Бернд.

Балтус завертывает кирпич в фольгу и засовывает в рюкзак. Бернд не знает, что и подумать. Ведь этот Балтус и в самом деле решил забрать кирпичину с собой. Балтус садится на мотоцикл.

— Ну что ж, пока, старик, и желаю тебе успеха в том, чем ты будешь заниматься? А, кстати, чем же ты будешь заниматься? — говорит Бернд.

Балтус протягивает ему руку.

— Я напишу тебе, когда снова окажусь дома, ничего, потерпишь, от любопытства не умирают... Ну, спасибо за все и привет завтра еще раз всем от меня, особенно Карлу, агой!..

Мотоцикл рванул с места и помчался, оставляя за собой шлейф пыли. Выехав на шоссе, Балтус включает четвертую скорость, полный газ; шоссе, целый мир простирается перед ним, мощно гудит мотор, поют, лаская асфальт, шины, слева и справа мелькают пашни, луга, дома. Над ним низкое небо, а на губах — вкус морского воздуха. Он приподнимает щиток шлема, чтобы ветер попадал ему в лицо. И вот они снова являются — знаменитые видения Балтуса.

...Он прогуливается по большому городу с женщиной, держит за руку маленькую девочку. Перед одной из витрин толпятся люди. Завидев Балтуса, они почти-

тельно расступаются. Он идет по образовавшемуся проходу к витрине. Вокруг шепот: да, это он, это действительно он, и какой, смотрите, скромный... Витрина заставлена книгами, и на всех одно и то же название — «Как я победил рак», автор — профессор доктор Балтус Прайсман. Балтус пытается заглянуть в лицо женщины, которую он держит под руку. Оно очень похоже на лицо Симоны, это ее глаза, рот, нос, ее волосы. Он ищет в ее лице восхищение, признание. Лицо, как это ни странно, ничего не выражает, начинает бледнеть, бледнеет, пока наконец не превращается вообще в какое-то белесое размытое пятно. Вдруг видение совершенно исчезает, слышны только резкие, короткие, дикие звуки...

И вой этот натурального происхождения, он от мира сего, а не воображаемого: Балтуса обгоняет машина «Скорой помощи».

Проходит всего лишь несколько секунд, а он уже рисует себе новую картину, и как пестра и радужна эта картина! Великолепный конверт: на ярком ало-голубом фоне во весь рост респектабельного вида мужчина, в одной руке — стетоскоп, в другой — гитара. Вокруг головы крупными буквами — «Величайшие битшлягеры Балтуса».

В действительности же перед ним автострада.

Слева: Берлин — 223 км.

Прямо: Грайфсвальд — 23 км.

Он включает первую скорость, выжимает газ.

Это та самая секунда, о которой он вспомнит, когда в день своего тридцатилетия взглянет в зеркало, когда спросит себя: верно ли ты тогда поступил, выжав газ, верным ли ты путем тогда двинулся или...

Он мчит вокруг зеленого островка, проезжает мимо поворота на Грайфсвальд, мимо поворота на Берлин. Раз, два, три. И Балтус запускает короткометражку.

У дорожного указателя: «Грайфсвальд — 23 км» стоит в полном составе группа «Тоутл Глоубэл», ансабль Гарри сомкнул ряды вокруг дорожного столбика со щитом, играет адски лихую вещь, Гарри стоит посреди шоссе перед «Жигулями», он широко раскрыл левую переднюю дверцу машины и призывно машет рукой...

У поворота на Берлин совсем иная картина:

«Ламбарене, Тимбукту, сельская амбулатория Малого Глухоярья», — значится на втором указателе. Профессор Биррхан со свитой молоденьких медсестер, рядом с Биррханом — Симона, в белом длинном платье, с белой розой в распущенных, ниспадающих на плечи волосах. Кристина, девочка, с которой он когда-то подружился в больнице, бегает вокруг. Мужчина в давно вышедшей из моды куртке оживленно жестикулирует, как будто хочет сказать Балтусу что-то очень важное... Балтус словно искусственный спутник вращается вокруг зеленого островка.

Грайфсвальд. Берлин. Грайфсвальд. Берлин.

Кажется, будто некая магическая сила не позволяет ему сорваться с этой орбиты.

Балтус медленно-медленно убирает газ и нацеливается колесом в направлении Грайфсвальда. Но у самого поворота вдруг останавливается. Лицо напрягается, он стискивает зубы так, что под кожей явственно обозначаются желваки.

Балтус сделал выбор!

Вперед, полный газ! Мотоцикл срывается с места и, сделав четверть круга, мчится к Берлину.

Балтус обгоняет пешехода, идущего по краю шоссе, на спине у него ранец, на котором мелком написано — «Иду в Берлин!» Балтус останавливается и ждет.

— Садись, если ты в Берлин!

— Ну, спасибо!

Примерно километров тридцать они едут под прохладой деревьев, окаймляющих шоссе. Перекресток. Огромный желтый щит, стрела направо — Шверин. Балтус резко тормозит.

— Барахлит? — спрашивает паренек.

— Да нет, не знаю, может, подумаешь, что я рехнулся, но мне непременно нужно в Шверин, — говорит Балтус.

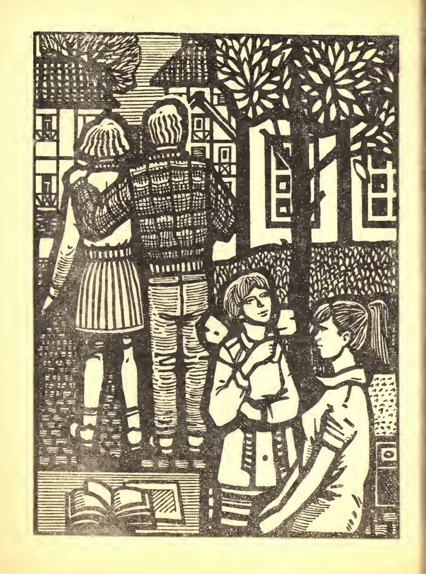
Паренек нехотя слезает с мотоцикла.

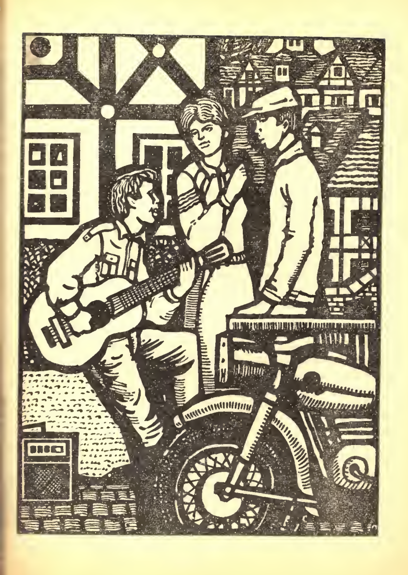
— Действительно очень нужно, друг, просто до зарезу, никак нельзя не поехать, — повторяет Балтус.

— Тебе видней.

Первая скорость, сцепление, газ, вторая скорость, третья, четвертая, полный газ, полный вперед — в Шверин!

РАССКАЗЫ





Уве Кант

АЛЬФРЕД-СОНЯ

Прекрасным июньским днем Альфред, которого, конечно, все разумные люди — кроме учителей и иностранцев — называли Фреди, решил стать соней. Решиться на это было легко. По утрам Фреди всегда бывал сонным, как медведь зимой. Ноги отказывались служить, глаза как будто кто-то ночью зашил, а в голове лишь одна мысль: все на земле, если смотреть правде в глаза, устроено в корне несправедливо. Вечером, когда ты резвый и радостный, как рыбка колюшка в ручейке, как пичужка на дереве, как «трабант» на скорости восемьдесят километров в час, вечером, когда им-то можно смотреть все эти великолепные фильмы, вечером, когда так хорошо, так уютно, они всегда говорили: раздевайся, Фреди, умывайся, Фреди, иди же спать, спи, кому говорят. Зато утром, когда тебе как будто все двести пятьдесят лет и ты наполнен самой тяжелой ртутью, какая только есть на свете, утром им ни разу не пришло в голову сказать: спи, еще рано. Как раз наоборот. Утром они почему-то всегда говорили одно и то же: уже так поздно, Фреди. С этого каждое утро начиналось. И дальше: вставай же наконец, соня. Ну а это уже было верхом несправедливости. Называть соней человека, который недосыпал.

Я вам покажу, решил Альфред в один прекрасный июньский день после того, как его оживили холодной водой, я вам покажу наконец, что такое настоящий соня. Да, сказать это было легко. Но с выполнением пришлось подождать, подождать до летних каникул. Пока учишься или в выходные об этом не могло быть и речи. По воскресеньям мама с пылесосом патрулировала

по квартире, а папа либо дырки в стенах сверлил, либо бил себя молотком по пальцам, произнося при этом слова, которые говорят в подобных случаях. Мастер-самоделкин, только не очень-то искусный. Нет, воскресенье тоже было неподходящим временем. Надо ждать летних каникул.

Первый день каникул пришелся на пятницу. В четверг вечером Фреди начал приготовления.

«Я, вообще-то, завтра мог бы поспать до обеда», — сказал он родителям. Сказал осторожно, неуверенно: разве можно быть уверенным заранее, что у родителей не найдется довода против? Это не положено или вредно для здоровья, или это делают только сумасшедшие, или КТО ЗНАЕТ ЧТО. Но мама лишь сказала: «Да, можно». А папа отмахнулся: «Ха, все равно ты столько не проспишь. Не выдержишь». — «Считай овец», — посоветовала мама. Проклятье, думал Фреди, что еще за овцы? «Каких овец?» — озабоченно спросил он. «Да, именно овец, — сказала мама. — Представь себе большую отару овец, ясно представь, и начинай считать, считай беспрерывно. Это лучшее средство, если проснешься раньше времени и не можешь заснуть». — «Нет, — сказал папа, — это слишком сложно, может быть, ему еще при каждом счете говорить мэ-э-э? Достаточно лишь представить большое поле. Просто, правда? И как ветер над ним гуляет, колышет ниву, фью, фью, такие, знаешь, волны ходят». Он показал руками, как бегут волны, и Фреди с интересом глядел на него. «А что надо представить — рожь или пшеницу?» — спросил Фреди. Папа перестал изображать волны и сказал сердясь: «Рожь или пшеницу? Какая разница, сынок?!» — «Ну хорошо, — сказал Фреди. — Только завтра утром ведите себя так, будто мне надо в школу».

Это они с удовольствием сделают, сказали родители.

Потом он надел самую новую и самую нарядную пижаму и добровольно, без принуждения пошел спать. Ночью он спал плохо, потому что все время снилось:

он должен сторожить овец, у которых одно на уме — во что бы то ни стало объесть соседнюю ниву. Вместо овчарки с ним была кошка, кошка все время мяукала, что на овец, однако, не производило ни малейшего впечатления. Все это было так досадно.

Он проснулся, когда было минут десять седьмого. Он не мог припомнить, чтобы сам просыпался когда-нибудь так рано. Но скоро понял, что проснулся вовсе не сам — его разбудило любопытство. Во-первых, ему не терпелось попробовать, каково это быть соней, а во-вторых, он хотел посмотреть, как родители станут притворяться. Оказалось, что они притворяются очень умело и ведут себя при этом совершенно естественно. Вначале торопливо вошел отец, быстро опустился на колени и, как индейский разведчик, стал заглядывать под стол, под шкафы, ворча про себя: «Проклятье, куда запропастились эти чертовы туфли?» Но это они еще не притворялись. Отец почти каждое утро ищет свои туфли. Вечером снимет их где попало и тут же забудет где. «Не разбуди ребенка», — сказала из коридора мама. Тут папа и вспомнил о вчерашнем уговоре. «А, ерунда, — ответил он, — все равно ему пора вставать, уже давно пора». Подойдя к кровати Фреди, он воскликнул: «Эй, вы там! Что вы там делаете? А ну, выходите! Время ночного отдыха прошло, петух прокукарекал, солнце ступило на золотую тропу!» Фреди сильно зажмурился, перевернулся на другой бок и захрапел изо всех сил. Как хорошо, вот это славная жизнь, пусть так всегда и будет. «Боже мой, — сокрушался папа, — у бедного ребенка сонная болезнь, надо немедленно побрызгать на него холодной водой. Эй, кто-нибудь там, принесите мне ведро воды!» При этих словах у Фреди от сладкого ужаса по спине побежали мурашки, и он с головой спрятался под одеяло. «Ого, — удивился папа, — жизненные силы еще не угасли, еще есть надежда. — И, изменив голос, добавил: — Давай, малыш, открывай глаза, пора». Альфред на мгновение выглянул

нз-под одеяла и сказал слабым, жалобным голосом: «Я так устал, спал, мал».

«Старнна, — убеждал папа, — в твоем возрасте я всегда с радостью вскакнвал с постелн. Нет у современной молодежн огонька, иу давай вставай. Или хочешь опоздать?» Мама открыла дверь и сказала: «Ну перестаньте наконец ерундой заниматься, кофе готов». — «Да, — согласился отец, — пожалуй, н хватнт». — «Потом оба заглянули в комиату и коротко бросили: «Пока». И он иакоиец остался один — и для великого сиа помех больше ие было. В первое мгиовенне казалось, что вокруг мертвая тишина. Потом медленно приблизился весь хор негромких диевных звуков. Ворчаиье водопровода, неразборчнвое бормотанне радно, далекий стук дверей, подвыванье стартера автомобнля, который не хотел заводиться, ворковаиье голубя, толковавшего что-то своему приятелю. На письмеиином столе размереино тнкалн часы. Было ровно семь. Фредн лег расслабнвшись иа спину н нн о чем ие думал. Точиее, он пытался ин о чем ие думать. Это удалось лншь в первый мнг, но потом это «нн о чем» стало походнть иемиого на иечто розовое, вернее, дымчато-розовое. Интересно, значит, именио так выглядит «иичего». Кто бы мог подумать? Но «ннчего», которое походнт иа что-то, может быть уже совсем и ие «ннчего»? То есть не надо думать «ин о чем», если хочешь ни о чем ие думать, иадо не думать ни о чем. Нет, и это ие то. Нужио совсем не думать: думал он и тут же думал о том, как это сделать. Потом быстро сел и потряс головой, как лошадь. Было три мниуты восьмого. Ои немиого задержал взгляд иа часах, посмотрел, как онн иеутомнмо трудятся. Им было тоже иелегко. В пять мииут восьмого ои вспомннл советы роднтелей. Виачале он попытался представить себе поле. Но увидел жалкий газои с пятнами мшистой поверхиости и бугорками, одиако, сделав героическое усилне, ои увидел очень аккуратную делянку ржн, зелеиую, прямоугольную, с четкимн краями.

Образцово-показательное поле. Только ветра не было. Стебли торчали как металлические стержни, а волн все не было и не было. «Ветер», — тихо сказал он, а потом еще раз — громче. Кукиш с маслом, а не ветер. Без ветра и поле ни к чему. Само по себе оно его нисколько не интересует. Он не агроном, в конце концов, а, как известно, соня. «Ветер, черт возьми», — сказал он теперь уже совсем громко. И тут же все поле как ветром сдуло. Вот так-то, папочка. Человек ты славный. Но в засыпании разбираешься мало. Это всякому ясно. А что мама говорила? Надо считать овец. Наверно, такая же ерунда. Но все же лучше, чем считать таблетки, хотя и ненамного. Гораздо лучше было бы одеться и выйти, например, во двор. «Совершенно верно, — сказал кто-то у него в голове, — милый, маленький Фредик быстро пойдет сейчас ножками, ножками к песочнице и «испечет» махонький-премахонький пирожок из песка, ах-ах!» — «Гм, — сказал Альфред, — пожалуй, у тебя кишка тонка. В детский садик тебя! А слышать о железной силе воли тебе не приходилось? Нет? Ну, тогда знай: решение есть решение!» Раз — и он повернулся к стене, два — накрыл голову одеялом и беззвучно, но твердо и решительно сказал: «Одна овца!» И хотя не видно было ни одной, где-то же они были, славные, хорошие овечки. Такие мелочи сейчас не помеха. Счет начат. «Две овцы!» Дойдя до двадцать первой овцы, он изрядно вспотел, тридцать седьмую сосчитал дважды, шестьдесят четвертую вообще пропустил, семьдесят третью овцу уже наполовину видел, семьдесят четвертую целиком, на семьдесят пятой в дверь позвонили. Благодаря железной силе воли под непрекращающиеся трели звонка он сосчитал шесть следующих овец. Верещанье звонка прекратилось, зато тотчас же послышался возбужденный голос фрау Гроскройцер, соседки. У фрау Гроскройцер голос почти всегда возбужденный, но в этот раз особенно. Наверное, потому, что прорезь для писем была слишком узка. Для голоса, конечно, а

не для фрау Гроскройцер, шестидесятилетней атлетки с широченными плечами и руками метательницы ядра. Однажды, прочитав «Тимура и его команду», Альфред захотел помочь ей донести несколько угольных пакетов. Но она заявила, что это вредно для позвоночника, и продолжала подниматься мерным шагом по ступенькам.

«Эй, Фреди, ты ведь дома, это же я, тетя Гроскройцер, — сказала фрау Гроскройцер, — отзовись же, мальчик, я знаю, что ты там. О боже, батюшки мои, лишь бы с мальчиком ничего не случилось». — «Вот именно, — думал Фреди, — со мной действительно кое-что случилось — фрау Гроскройцер стучится в дверь и спрашивает себя, не случилось ли чего со мной, восемьдесят вторая овца. Сейчас она вызовет пожарную команду, восемьдесят третья овца. Лучше выйти и добровольно сдаться властям, восемьдесят четвертая овца». Он открыл дверь, и фрау Гроскройцер широко и мощно шагнула через порог, готовая обратить в бегство любого громилу или гангстера. «Восемьдесят пятая овца», — полусознательно, полуавтоматически сказал в этот миг Альфред. С какой охотой он вернул бы назад эти слова. Но слово не воробей... В первый момент от радости, что еще застала его в живых, фрау Гроскройцер не обратила внимания на странные слова, но потом насторожилась.

«Да, — сказала она сперва, а потом: — Что? Что ты сказал? Овцы? Шестьдесят пятая овца?» — «Восемьдесят пятая», — сказал Альфред. «Да, да, — сказала фрау Гроскройцер, — что еще за овцы?» — «Я их считаю», — сказал Альфред. «Ты, что ты делаешь? Ах, мальчик, что с тобой? Ты же красный и весь потный! Да у тебя температура! Есть у тебя температура?» — спросила фрау Гроскройцер и приложила ко лбу Альфреда ладонь, широкую, как нож бульдозера. Ему захотелось стать таким бледным, чтобы его оставили в покое, но он смог лишь сказать, предусмотрительно

откинувшись: «Нет, конечно, нет... это оттого, что... то есть... потому, что я считаю овец...»

«Конечно, — голос фрау Гроскройцер стал нежным и одновременно строгим, похожим на голос врачихи из фильма про врачей, — конечно, мы только считаем овечек на лужайке». Она схватила его за плечи, успокаивая (во всяком случае, так ей казалось), и тихо добавила: «О боже, он действительно бредит, бедный мальчик». — «Нет, — сказал Альфред, начиная сердиться, — не на лужайке, а под одеялом, я...» — «Конечно, конечно, под одеялом, — сказала фрау Гроскройцер, осторожно, но решительно подталкивая его в детскую,— только не волноваться, волнение для нас сейчас очень, очень вредно, это испугает восемьдесят пять наших маленьких овечек, не правда ли?» — «Сто, — сказал Альфред, скрежеща зубами, — теперь их уже сто — не получилось с полем, я...» — «С полем? — спросила фрау Гроскройцер. — Ну да, с полем, нет, здесь что-то не так, о господи, но ничего, ничего, это не беда. Я же здесь, еще повезло, что я здесь, я, собственно, только спросить, нет ли у вас ванильного сахара, видно, и забывчивость может быть во благо. Я еще вчера о нем думала, а как собралась печь кекс, тут и оказалось, что в доме опять нет ванильного сахара, а без ванильного сахара кекс не тот, я уже сорок лет их пеку, и что бы мне ни говорили...» Альфред слушал разглагольствования фрау Гроскройцер с подчеркнутым вниманием, надеясь, что она забудет о том, что он болен, и оставит его в покое.

Так бы и было, если бы он хоть немного придержал язык. Но ему хотелось схитрить, и он переусердствовал — сказал совсем в неподходящий момент: «Ванильный сахар — душа кекса!» Эту странную фразу он отчасти сам придумал, отчасти повторил отца, который два дня назад объявил маме, что соль — душа жареной картошки. «Душа? — испуганно переспросила фрау Гроскройцер. — Ах, боже мой, я тут говорю и говорю,

а бедный ребенок, у которого сильная горячка, все еще не в постели, а ну быстро в кровать, а я позвоню папочке, и мы будем делать чудесные холодные компрессики!» — «Нет», — возразил Альфред, но в следующий миг сам забрался в постель, потому что фрау Гроскройцер попыталась схватить его. Лежа в кровати, он слушал, что фрау Гроскройцер говорит по телефону. Естественно, фрау Гроскройцер принадлежала к тому сорту людей, которым сколько ни втолковывай, что телефонная связь основана на применении электричества, все бесполезно. Они не верят в это ни на грош. Импульс туда, волна сюда, мембрана — это хорошо и прекрасно, думают они про себя, но в конце концов это всего-навсего трубка для того, чтобы говорить и слушать, и поэтому полагаются прежде всего на силу своего голоса. Фрау Гроскройцер распорядилась, чтобы телефонистка коммутатора немедленно соединила ее с отцом, и тотчас же закричала что было сил: «Алло, да, алло, это я, что? Да, да, Гроскройцер. Фрау Гроскройцер, да, именно я, да, так вот из-за ванильного сахара, что? Как? Нет, нет, это фрау Гроскройцер, да, значит, так, ваш сын болен, ваш сын заболел, алло? Да, он красный и весь потный, верные признаки, нет, но он бредит самым натуральным образом, ну конечно же, совершенно определенно, вы меня слышите? Да, сначала он сказал, что ему надо считать овец, а потом... кто там еще смеется, там кто-то вклинился в разговор, повесьте трубку, да, случай серьезный, какая наглость, кто-то к нам подключился, да, он считал овец и потом еще что-то про поле, да, про поле, ниву, вы понимаете, но самое чудесное, то есть самое скверное, это еще только начинается, сразу, вы знаете, сразу, он же говорит, ах, опять какой-то треск, опять то же самое, вот он сразу и говорит: ванильный сахар — душа кекса! Алло, алло, вы меня слышите? Да, не правда ли? Я тоже так думаю, согласна с вами, прежде всего постельный режим, да, да, да, нет, нет, нет, но вы не волнуй-

тесь, здесь я, и у меня есть время, прежде всего компрессы...»

Когда около пяти часов родители вернулись домой, Альфред, он же Фреди, бледный, обессиленный, уставший до полусмерти, лежал в кровати. Фрау Гроскройцер сидела рядом в кресле и вязала салфетку коньячного цвета. «Температура спала, теперь ему надо как следует выспаться, — сказала она. — Да, пока не забыла, не найдется ли у вас немного ванильного сахара?»

Маргарете Нойман

ЗВЕЗДЫ

В одной стране, не очень далекой, живет девушка, умная и красивая. Любые имена, цифры и теоремы, услышанные девушкой лишь раз, навсегда врезаются ей в память, какой бы трудной ни была задача, она всегда найдет правильное решение.

Учителя и даже ее подруги считают, что она самая красивая и самая умная на свете. Пожалуй, на любой вопрос она смогла бы ответить точно и в подробностях.

Названия всех стран, их географическое положение, площадь, столицы и прочие достопримечательности, язык жителей, торговые связи, мореплавание и полезные ископаемые, порядковые номера элементов, удаленность Земли от Солнца и перигей Луны, названия всех ее крупных морей, когда родился Марк Аврелий и даты жизни великого Коперника, а также других ученых, поэтов и героев. Но более всего одаренность ее проявляется в математике, она играючи рассчитывает углы, длины, эллипсы, решает уравнения со многими неизвестными. (Ее любимейшие числа — иррациональные.)

Девушка живет в большом городе, в доме на площади, по которой проезжают блестящие автомобили, из ее окон они кажутся маленькими, как игрушки. Центр площади занимает белый универмаг, сверху похожий на звезду. С утра до вечера непрерывным потоком в универмаг идут крошечные человечки в ярких праздничных одеждах.

Поздно вечером, когда все сидят дома у телевизоров или уже лежат в постели, когда делается так тихо,

что слышен бой часов на башнях, чудом уцелевших в кромешном аду войны, площадь пуста, над ней, как над центром мира, выгибается купол слабосветящимся, легким бледно-оранжевым флером.

Эти часы девушка любила больше всего. Часто теплым вечером она выносила на маленький балкон кресло, сплетенное, как уверяла мать, еще дедушкой, хотя отец и сомневался в этом, и, сидя там, представляла себе, что плывет в воздухе над освещенной площадью с застывшими в безмолвном ожидании блестящими автомобилями, слушала бой часов, высчитывала, где сейчас утро, а где день, и сколько времени надо световому лучу, чтобы пройти расстояние, равное радиусу Земли.

Так и жила и росла спокойно и счастливо эта девушка — гордость учителей, радость родителей.

Пока неожиданный случай не изменил все. В их класс пришел новенький, приехавший с родителями из другого города. Изящный застенчивый юноша, звали его Георг, и словно в насмешку он тут же получил прозвище Победитель Драконов. Он сидел впереди девушки, наискосок, у окна, и когда слегка поворачивал голову, его взгляд неизменно останавливался на ней. Когда это случилось в первый раз, девушка не поверила себе и не услышала, о чем ее спрашивает учительница — фрау Цукерлинг, а такого с ней не бывало. Но в тот момент, когда был у нее готов достаточно разумный, составленный из общих фраз и пригодный на все случаи жизни ответ, юноша снова обернулся. Девушка запнулась, отвернулась, пробормотала что-то невнятное и в испуге села. Фрейляйн Цукерлинг удивленно покачала головой и снисходительно улыбнулась.

Но на следующих уроках и даже на уроке учителя Грайнера, который преподавал математику, девушка по-прежнему была рассеянна. И когда отзвенел звонок с последнего урока, она небрежно побросала в портфель книги и тетрадки и кратчайшей дорогой побежала

домой. Дома она сразу уселась за учебники, но снова не могла сосредоточиться, неприкаянно ходила из комнаты в комнату, забредала на кухню и снова из комнаты в комнату, а когда пришли с работы родители, сославшись на головную боль, легла в постель. Ждала, когда наступит ночь.

Но и ночь была иной. И площадь, как всегда ярко освещенная, и автомобили, чинно выстроившиеся в ряд по ее краям, все было как обычно, только площадь стала меньше, а самым удивительным девушке показалось то, что небосвод в эту ночь был плоским, собственно, ничего и не было, никакого бледно-оранжевого купола — только, пожалуй, в воздухе смесь дневной пыли и дыма. Девушка долго смотрела на небо, стараясь проникнуть сквозь него взглядом, увидеть, что там, за ним. Плетеное кресло, на спинку которого она откинулась, заскрипело. Оно «вздыхает», подумала девушка и разозлилась на себя.

Часы буднично отбивали время, каждые пятнадцать минут. Огоньки в домах на противоположной стороне площади и дальше, до самой городской окраины, те, что иногда казались девушке глазами друзей, быстро гасли один за другим, пока не остались только два, смотревшие упрямо и желто, с каким-то затаенным укором.

Девушка резко откинулась на спинку кресла и опустила веки. Часы били непрерывно, наверно, из-за того, что одни несколько отстали, а другие ушли вперед, и бой одних часов сменялся боем других, и девушке почудилось, что она слышит, как под «клинг-кланг» часов проходит мимо неостановимое время.

Неплохо было бы и уснуть здесь, подумала девушка, истома охватила ее легким головокружением: кружились, сменяя друг друга, видения, вот одно из них замерло неподвижно, и девушка знала теперь, что оно целый день жило в ней.

Странно — она не смогла бы сказать, какого цвета

эти глаза. Не голубые. И не карие. Наверно, серые или даже зеленоватые, и дело было даже не в цвете глаз, а в чем-то другом. Было что-то в этом взгляде, что-то без конца и начала и абсолютно вне времени. «Вне пространства и времени», — подумала девушка и тут же услышала слова фрейляйн Цукерлинг: «Глазное яблоко примерно два сантиметра, а число лет определяется точно — семнадцать. Не так ли?» — «Не буду спорить», — ответила девушка, улыбнулась, вздохнула глубоко. Встала, потянулась, еще раз окинула взглядом площадь, автомобили, дома, огоньки, еще мерцающие в ночи, вернулась в комнату, легла и тут же заснула, крепко, как после тяжелой работы.

Утром она проснулась счастливой и отдохнувшей, накрыла, как обычно, стол к завтраку и позвала родителей пить кофе, съела, как всегда, две булочки, разве лишь немного дольше обычного задержала мед на языке — у нее появилось ощущение, что она касается языком чашечки цветка, из которого золотисто-желтая пчела высасывала сладкую массу. «Грезишь?» — спросил отец. А мать окинула ее быстрым взглядом.

Дорога до школы была недолгой. Пройти площадь и свернуть на боковую улицу, потом по шаткому мостику, перекинутому через речку, и наконец немного под гору, вдоль трамвайных путей.

Этим утром ее удивило то, что площадь, еще накануне такая маленькая, оказалась довольно просторной, светлой и ровной, на деревьях, росших вдоль улицы, на золотисто-зеленых листьях сверкали капли росы, вода под мостиком струилась и журчала, летали над ней чайки и плавали, держась подальше от берегов, пестрые утки.

На уроках девушка вольно или невольно смотрела в его сторону, но, даже встречаясь с ним взглядом, на вопросы учителей отвечала вполне разумно.

Все это казалось девушке очень странным и непонятным, но когда фрейляйн Штраль, Штрачила, на уро-

ке немецкого, говоря о «Минне» Лессинга, произнесла слово «любовь», девушка тут же решила, что объяснение найдено.

Она испугалась, сильно покраснела и решила больше не смотреть в сторону юноши. Но это не помогло. Стало даже хуже.

Наступили летние каникулы. Фрейляйн Цукерлинг предполагала недельку провести со школьниками на Гарце, в палаточном лагере — отдыхая, дети в то же время смогли бы лучше понять и оценить «Путешествие по Гарцу» Гейне.

Они ехали поездом, потом пересели в ярко-красный автобус, шли и пешком.

Под вечер они пришли на поляну, которая показалась им подходящей для лагеря.

Поляну, находившуюся в тихой долине, обступили высокие пихты, под которыми росли мхи и папоротники. Все время, пока они ехали, и потом, когда шли перевалами и долинами, девушка думала или, скорее, чувствовала: как бы ни было прекрасно увиденное, все внимание еще потребуется ей для чего-то более значительного и удивительного, что ждет ее здесь, и все окружающее великолепие — лишь отблески чуда, что еще впереди. Это предвкушение, сказала себе девушка, предвкушение радости. И она старалась думать о другом, потому что сейчас она ничего так не боялась, как разочарования.

Пока они разбивали палатки и готовили ужин, девушка снова забыла обо всем, и шумная веселость других увлекла ее. Встречаясь с юношей взглядом, она улыбалась. «Все же глаза у него карие, — думала девушка, — темно-карие, иногда даже кажутся черными. Наверно, это вначале и сбило меня с толку». И получалось так, что девушка говорила с юношей не чаще, чем с другими, и не иначе, чем с другими, — обычные фразы, за которыми не скрывалось ничего.

Стемнело неожиданно быстро. Наверно, потому, что солнце спряталось раньше, чем на равнине, оставив над горами лишь кусочек неба.

Они поужинали и продолжали подбрасывать сухие ветки в костер, ветки горели ровно и без дыма. Но вот они бросили в огонь очередную порцию хвороста, и взметнулись искры, девушка смотрела, как они разлетались и гасли на лету. А выше были другие искры, замершие безмолвно и торжественно, искры белые и далекие, и золотистые, и красноватые, они мерцали, и над ними все дальше, дальше и дальше — искры, как золотая пыль, и еще, и еще, и еще.

Странно, что девушка сразу узнала Большую Медведицу, нашла и Кассиопею, в виде большой латинской W.

Она, конечно, учила и знала названия звезд и расстояние до них, их массу и плотность, период обращения планет вокруг звезды и вокруг собственной оси. Но никогда их прежде не видела. Замечательные вещи были ей известны, такие, как порядковые номера элементов и постулат о параллелях, которые пересекаются в бесконечности, постулат, имеющий только теоретическое значение, хотя она, конечно, знала и учение Эйнштейна об искривлении прямых в пространстве и даже понимала его.

Девушка, опершись на руки, запрокинула голову и забыла об окружающих, о подругах и фрейляйн Цукерлинг, и о юноше, сидевшем напротив. Чем дольше она смотрела на небо, тем все более отдаленные звездочки были видны ей. И как раз это больше всего пугало, удивляло, приводило в замешательство, а вместе с тем восхищало и радовало ее.

Уже болели глаза, и немного повернулась Большая Медведица. Вот и Млечный Путь, и она подумала, что яркая, насыщенная звездами лента — другие далекие миры, и сердце ее сжалось от сильного испуга и одновременно от радости и счастья.

Костер едва тлел, все разошлись. Фрейляйн Цукерлинг сказала:

— Ты спишь?

Девушка не ответила.

— Уж не плачешь ли ты?

— Я не знаю, что... — Девушка встала почти с усилием, слегка покачнулась и, не глядя больше на небо, быстро пошла к палатке.

Она все думала о звездах и Галактике, ей пришлись на память слова «неизмеримое» и «бесконечное», и, когда она стала засыпать, все это соединилось в ее сознании с глазами юноши, соединившись, слилось, и не было уже ничего: ни слов, ни юношеских глаз, а было неземное счастье, которое росло и ширилось, и как будто что-то подхватило девушку, и она, паря, видела одновременно во сне и бесчисленные звезды, и покрытую зелеными лесами землю, ленты рек, дорог, города и села, подобные драгоценным ожерельям, а в центре одного из городов — прекраснейшую площадь с универмагом, сверху напоминающим звезду, с автомобилями, застывшими в ожидании по ее краям, и множеством ярко одетых людей.

Ютта Шлотт

ЭДГАР

Никогда больше не будет дедушка отлавливать для своих ульев летних пчелиных маток. В школе на какое-то время Эдгар позабыл об этом, да и усталость, которая уже несколько недель подряд с самого утра ложилась на плечи и веки, наконец отпустила. Он опять почувствовал ее приближение, выйдя из автобуса; он увидел на ветвях березы повисшие ожерелья из капель только что прошелестевшего дождя. «Слезы», — презрительно подумал он.

У старой овчарни, которой, собственно, давным-давно не существовало — лишь место, где она раньше стояла, продолжало так называться, — каждое утро встречались ученики; сюда же после обеда их привозил автобус.

Эдгар начал спускаться к лугам, где стоял дедушкин дом. Остальные ребята потянулись в сторону Лемберга.

Хенни — его одноклассница в последний раз оглянулась, встряхнув своим «конским хвостиком». Он был такой же коротенький и смешной, как у пони, на котором она иногда ездила в деревню.

Вообще пони принадлежал отцу Хенни, бригадиру полеводческой бригады, который держал его шутки ради, как он сам не раз говорил.

Эдгар ни разу в жизни не катался на лошадях, но, пожалуй, у него и охоты-то особой не было усаживаться на животное.

Вот дедушкины пчелы — это совсем другое дело. Не то что эта цирковая лошадка. Да и вообще Эдгара мало интересовали забавы деревенских детишек. Уж куда как лучше возиться с ульем.

Эдгар ладонью смахнул воду с отяжелевших веток. Нет, он не плакал.

Не плакал, когда поутру его разбудила непривычная тишина в доме, а бабушка вместо утреннего приветствия уткнулась, всхлипывая, в носовой платок: «Нет больше нашего отца...» Не плакал, когда дедушку выносили. И в церкви он не плакал. Он молчал и тогда, когда на отлакированную крышку гроба упали первые комья земли.

Он вообще не проронил ни слезинки.

Эдгар с корнем вырвал прошлогодний лопух и стал осторожно спускаться по ослизлому склону ко рву.

Он поковырялся палкой в земле, взмутил в разбухшем от дождя ручье воду и завороженно уставился в нее.

Под водой, кружась и смешиваясь, расплывались ил и грязь; и это было похоже на клубы дыма из горящего под водой царства. Очень даже может быть, что в подводном городе бушевал пожар. А еще это было похоже на облака табачного дыма, когда дедушка крепко прикусывал мундштук.

«Мать говорила, что твой дед докурился до смерти», — прошипел верзила Вихерт, когда Эдгар пришел в школу после похорон. Вихерт — подлец. Эдгар злобно сплюнул в ручей.

С тех пор как он снова пришел в школу, некоторые учителя зовут его Эдди. Это настолько непривычно, что Эдгар каждый раз вздрагивает, когда его так называют. Впрочем, с этим можно и примириться. Слава богу, что хоть не всем такое пришло в голову. Одноклассники так осторожны с ним, будто он стеклянный, толкни его — разобьется. Они показывали ему задания по математике и в один голос убеждали, что за три дня он нисколечко не отстал.

О дедушке никто даже и не заикнулся. Эдгар был рад этому. Они могли бы сказать «твой дед». Эдгар не мог этого слышать. Особенно теперь. При слове «дед»

его пронизывало ощущение, будто он вымазал руки в липких солодовых конфетах, эту липкость хотелось тут же смыть. Эдгар всегда называл дедушку отцом. А настоящего отца у него не было. И баста.

...Еще давным-давно старый Гуммерт объяснил ему это. У него не было отца так же, как не было, к примеру, машины и, конечно же, никогда не будет. Примерно так же, как у других нет пчел или, допустим, яблоневого сада. Такой разговор случился в первый и последний раз. Никогда больше Эдгар не повторял своего вопроса.

И тем не менее что-то иногда наталкивало его на тревожные мысли о несостоявшемся отце. На днях в школьном дворе Эдгар услышал, как две девчонки из девятого шептались, будто его отец — белобрысый Ханке. Некоторые называли его Ханке-шмель, потому что он ни минуты не мог усидеть спокойно, ему все время приходит в голову что-то новое. Это прозвище прилипло к нему. Ханке работает в коровнике. Живет он в доме, приткнувшемся в самом начале деревни, с кучей детей, которые постоянно копошатся в палисаднике. После того как Эдгар услышал шушуканье девчонок, он долго смотрел, как Ханке с лопатой и киркой хозяйничает в саду, то покрикивая на мешающих ему ребятишек, то посмеиваясь над ними.

Ханке точно такой же, как и все другие. Не лучше и не хуже. Вечером перед зеркалом Эдгар попытался выискать хоть какое-нибудь сходство, но ничего не нашел. Его волосы были темными, почти черными. Эдгар опять забыл об отце...

Прямо к Эдгару подплыл кусочек коры. Он был похож на корпус кораблика. Если сделать парус из листа лопуха, то можно пустить кораблик вниз по ручью. Но Эдгар знал, что будет ужасно грустно, когда кораблик исчезнет за мостом. Эдгар оттолкнул палкой кусочек коры. Тот, завертевшись сначала, быстро поплыл.

...Иногда Эдгар размышлял, чем мог бы стать для них отец. Вот дедушка — тот умел все. Ведь это именно дедушка научил Эдгара свистеть, заложив в рот два пальца, да и рыбачить научил дедушка, под его руководством Эдгар постигал, как подойти к пчелам и при этом не быть ужаленным. О пчелах дедушка вообще знал абсолютно все.

Каждый раз после обеда они вместе садились за уроки, хотя самостоятельно Эдгар справлялся с ними куда быстрее. Но что это было за удовольствие, когда дедушка был рядом и, что-то там по-своему мудря, выполнял задание. Снова и снова удивлялись они, какими потрясающе разными путями оба добирались до правильного решения.

Дедушка принадлежал к той породе людей, которые ругаются лишь тогда, когда не ругаться нельзя. При этом он ничего не спускал ни ему, ни матери.

В их большом доме мать жила как-то совсем незаметно. Работала она через день на кухне сельскохозяйственно-производственного кооператива. Вечером, похлопотав возле свиньи и кур, она перекидывалась с дедушкой парой слов об Эдгаре, о саде, о всяких там рабочих делах. Или тихонечко садилась перед телевизором и вязала.

Приготовить завтрак и выключить на ночь свет в комнате Эдгара — на это имела право только мать.

Чаще всего дедушка злился, если мать хваталась за что-нибудь и делала совсем не так, как это сделал бы он. А с дедушкой никто не ругался...

Опять пошел легкий дождик. Эдгар взглянул на часы. Скоро три. Он полез вверх по склону, поскользнулся, упал на колени и вымазал брюки.

Бабушка все равно не будет ругаться. И вообще она сделает вид, что прошло не больше часа.

Все домашние были похожи сейчас на стеклянные сосуды, и они были полны слез доверху, чуть задень — и слезы опять начнут переливаться через край. Они пе-

реговаривались между собой чуть слышно и подчеркнуто вежливо. Скорей всего именно поэтому Эдгар так и вымотался.

Когда он подходил по аллее к дому, бабушка открыла ему дверь.

— К тебе заходила Хенни фон Франке. Ты бы к ним забежал. У пони родился жеребеночек.

Она прошлась одежной щеткой по его заляпанным брюкам, будто он собирался не в конюшню, а на праздник. Подталкивая его к двери, она умиленно бормотала:

— Такой крошечный жеребеночек, ну просто чудо.

Она не шептала больше. Это опять был ее привычный хрипловатый старческий голос.

Эдгар удивленно оглянулся, но она ласково вытолкнула его за дверь:

— Иди же, мальчик, иди.

Теперь ветер дул прямо в спину. Он окреп и, забираясь под одежду, разгуливал по всему телу. Но зато он помогал быстрее идти.

Эдгар пробежал несколько метров. И вдруг осознав, что в последнее время он мог ходить только медленно, испуганно остановился.

Порыв ветра ударил в лицо, и Эдгар побежал. Прямо над Лембергом кусочек неба был безоблачным и ясным. Эдгар представил себе, как Хенни покажет ему конюшню и как, дрожа и покачиваясь, встанет на неуверенных тонких ногах жеребенок.

Наполовину преодолев подъем в гору, Эдгар вдруг понял, что добежит до вершины и не устанет.

Петер Брок

ПОЧЕМУ МНЕ ПРИШЛОСЬ ПРОМЕНЯТЬ ТЕО НА ПАПУ

Честно говоря, мне было нелегко так сразу порвать с Тео. Но иначе нельзя. На то есть веские причины.

Вчера, всячески стараясь щадить его, я сказала ему об этом и чувствовала себя прескверно. А Тео? Воспринял все как мужчина. Даже попытался улыбнуться, когда я добавила, что мы тем не менее останемся хорошими друзьями. Несмотря на папу, сказала я, и это произвело на него огромное впечатление. Но Тео терпеть не может сентиментальности. Он просто хлопнул меня по плечу.

А моя подруга Крилле, которой я все рассказала сегодня после школы, считает, что отказываться от Тео глупо. Все веские аргументы для нее ерунда. То, что главная причина — Винне, я, конечно, не сказала. Крилле без ума от Тео. Для меня же это пройденный этап. Тео был вообще-то чем-то вроде ошибки юности. В конце концов мне теперь шестнадцать, а в этом возрасте уже нельзя позволять себе подобные шуточки.

Признаюсь, я долгое время очень гордилась Тео. Хотя бы потому, что я его, можно сказать, завоевала. Все началось с игры в вопросы. Мне было не больше пяти, во всяком случае, я еще не ходила в школу, когда я придумала недурную забаву. Чаще всего я начинала с безобидного вопроса, затем следовал другой, более каверзный, затем третий и так далее, пока родители не начинали беспомощно смеяться. Иногда они сдавались после первого же вопроса. Например, когда я хотела знать, есть ли у блох вши. Или почему пианино само на себе не играет? Или как называется паук, когда он

не плетет паутину? То, что мне удастся таким путем завоевать Тео, для меня самой было неожиданностью.

Как-то вечером, открыв дверь в папин кабинет и терпеливо подождав, пока он не спросит: «Ну что там опять?», я сказала:

— Могу я тебя кое о чем спросить, папа?

Он застонал, но пока что негромко: это был всего третий вопрос в тот вечер.

— Ну хорошо, только покороче!

— Я лишь хотела узнать, почему ты маму всегда называешь Рут?

— Почему я?..

Покачивая головой, папа зажег сигару. Пока она дымилась и он отвечал, а длилось это довольно долго, у меня было достаточно времени обдумать другие вопросы. Каким будет первый ответ, я, конечно, могла предположить.

— Как же мне еще называть маму? Ведь ее зовут не Розалиндой, не Эльвирой, не Кунигундой, а Рут, не так ли?

— Так-то оно так. Но почему ты ее не называешь мамой?

— Очень просто, потому что, хотя она тебе и мама, мне она — жена. Так, а теперь...

— А почему ты не называешь ее женой?

Папа громко засмеялся. И я тоже с ним немножко посмеялась.

Вопрос-ловушка был впереди.

— Я должен называть маму женой? Нет, ты меня смешишь! Мама же знает, что она моя жена. Послушай, мы ведь тебя тоже называем не дочкой, а...

— Сабиной. Потому что вы знаете, что я ваша дочь, верно?

— Ну наконец-то! А теперь оставь меня в...

— А почему я должна называть тебя папой? Я ведь тоже знаю, что ты мой папа.

Так... интересно, как он теперь выкрутится. Бедный папа! Его окутали клубы дыма: так он всегда поступает, когда попадает в затруднительное положение. Я уж было подумала, что все опять закончится беспомощным смехом или стоном. Но нет, на этот раз я ошиблась. Папа спокойно отложил трубку и доброжелательно, можно сказать, по-свойски, посмотрел на меня. Затем он сказал:

— Ну хорошо, если хочешь, называй меня Тео.

Я просто опешила и беспомощно захихикала. То, что предлагал папа, казалось мне неслыханным. А может, правда рискнуть? Вначале я раз десять прошептала про себя: «Тео». Но и на одиннадцатый я не могла произнести этого вслух. А у папы лицо опять стало таким же, как недавно во время игры в шахматы с господином Гречелем, когда папа объявил ему мат.

«Тео», — вдруг услышала я свой голос... и выскочила из комнаты. А папа засмеялся. Неужели он все принял за шутку? С разочарованием я вспоминала тот торжественный момент, когда папа впервые назвал господина Гречеля Конрадом, а господин Гречель папу Тео. В самом деле... Я бросилась на кухню, наполнила две рюмки малиновым соком, поставила на поднос и явилась к отцу.

— За твое здоровье, Тео, — отчетливо произнесла я и подняла свою рюмку.

— За твое здоровье, Сабина, — ответил Тео.

Кажется, получилось вполне торжественно. С тех пор я стала называть папу Тео. Хотя мама и пыталась возражать. Как сейчас помню, в тот вечер Тео имел с ней довольно серьезный разговор. Но свое слово он сдержал. И я на радостях прыгнула в постель на одной ноге.

Чтобы оказаться достойной брудершафта с Тео, я тогда же дала нашей черепахе Пальме, и без того немало обо мне знавшей, следующую клятву: с сегодняшнего дня я буду задавать Тео только совсем легкие во-

просы, чтобы ему больше не приходилось мучиться и стонать. Я не буду больше приклеивать жвачку под крышкой стола. С сегодняшнего дня перестану хлопать дверьми. И вообще, стану хорошим человеком.

Признаю, для одного раза это многовато. Но моему Тео я была верна. Одиннадцать лет. И это длилось бы вечно, если бы мои родители не переехали и я не перешла бы в другую школу.

В моей старой школе все было по-другому. Там многие ребята по-настоящему завидовали, что у меня есть Тео? А тут? До недавнего времени я даже не решалась упомянуть его. Поэтому я была рада, что он еще ни разу не появлялся в школе. Как мне его тогда называть? К тому же я видела, что некоторые девочки в классе вздыхают по какому-нибудь Клаусу, Маттиасу или Стефану, многозначительно закатывая при этом глаза. Я с моим Тео, естественно, не могла с ними тягаться. И мальчишки, во всяком случае, некоторые из них, не удостаивали меня участия в своих перешептываниях. С моей подругой Крилле они обращались точно так же. И это только потому, что нам на вид нельзя дать шестнадцать. Но разве это причина обращаться с нами как с детьми?

Больше всего меня злило беспредельное самомнение Винне Келера. Тогда наш класс готовил танцевальный вечер в молодежном клубе и я уже подумывала о том, не надеть ли мне вместо серебряных туфель с плоским каблуком замшевые, потому что Винне почти на голову выше меня, этот мальчик вдруг по-отечески посмотрел на меня и спросил:

— Послушай, малышка! А что, если вы в субботу вместе с Крилл будете торговать в клубе кока-колой? Чтобы вы с ней могли привыкнуть к атмосфере клуба?!

Какая наглость!

— Может быть, ты сам этим займешься, Винне? — ядовито парировала я. — Видишь ли, я уже договорилась с моим приятелем пойти в субботу в бар «Какаду».

Каково?! Как раз об этом баре Винне на днях рассказывал, да с таким апломбом, словно был его завсегдатаем.

— Верно, — находчиво вставила Крилле, — не оставлять же Тео одного в этот вечер!

В ответ Винне и его друзья только по-идиотски расхохотались. В субботу я, конечно, не могла пойти в молодежный клуб. Мне пришлось остаться дома и играть с Тео в шахматы. И это было лишь жалким эрзацем танцевального вечера. А что толку? Какое-то время я решила просто не замечать Винне, что было довольно сложно при его росте, и старалась не расстраиваться от того, что у меня пока только Тео и нет настоящего друга.

Но однажды на перемене в класс влетела Крилле и радостно затрубила:

— Сабина, быстро иди вниз. Тебя у ворот ждет не дождется Тео. Но смотри, чтобы вас не застал Матемлевский.

Матемлевский, вернее, господин Машлевский, наш классный руководитель. Вообще-то он добрый, но он ведет у нас математику. И поэтому мне действительно не хотелось, чтобы он застал нас у ворот. Ведь то, что Тео украдкой сунул мне и я быстро спрятала под свитером, было забытой мной дома тетрадкой по математике с домашним заданием.

Славный Тео! Без него на следующем уроке я бы совсем пропала. С благодарностью я бросилась ему на шею и расцеловала его.

Но тут замечаю, что кто-то наблюдает за нами из окна коридора. Уж не Карола ли это, наша первая сплетница? Пусть смотрит, подумала я.

Мой бедный Тео не знал, что и думать, когда я вдруг опять и довольно бурно осыпала его поцелуями. Но увы, так было нужно.

— Что за телячьи нежности? — удивился он. — Луч-

ше просмотри еще раз третий пример, там коэффициент не совпадает.

— Спасибо, мой дорогой, — сказала я и продолжала смотреть на него таким взглядом, словно он только что объяснился мне в любви. В конце концов ему это надоело. Убегая, я послала ему воздушный поцелуй.

Едва я вошла в класс, как поднялся такой шум, словно меня видели в объятих возлюбленного. Болтушка Карола уже успела позаботиться о сенсации. По ее великодушной оценке, Тео был «потрясным» мужчиной. Кажется, она даже сравнивала Тео с киноактером Гойко Митичем.

О, как же я ликовала! Особенно когда убедилась, что Крилле удалось справиться с душившим ее смехом. Винне, правда, ничего не сказал, но все же он совсем по-иному посмотрел на меня. Точно впервые увидел. А я небрежно закинула ногу на ногу.

— Посмотрите-ка на нашего цыпленка! — крикнул Хольгер Вюст.

Мне было нетрудно пропустить это мимо ушей. А Ингрид Лер, которая всегда говорит пословицами, тупо заметила:

— Да, в тихом омуте, как известно, черти водятся.

Я же была на вершине блаженства от своей порочности. Это было так опьяняюще, что я совсем забыла еще раз просмотреть третий пример с неверным коэффициентом, за что позже поплатилась, получив тройку.

Тройку эту еще можно было бы пережить, если бы я оставила свою глупую игру с Тео. Но я не могла остановиться.

На большой перемене Винне постоянно вертелся около меня. И при этом вел себя так, словно хотел предостеречь. Мне кажется, он говорил даже о том, что мы должны как-нибудь в классе «совершенно откровенно» поговорить обо всем. Да, только этого мне и не хватало. Он даже хотел знать, где я, собственно говоря, по-

знакомилась с этим Тео? Не могла же я ему ответить, что все началось с пеленок.

— В баре «Какаду», где же еще? Ты ведь там часто бываешь? И должно быть, нас там уже видел?

— Может, ты хочешь сказать, что будешь там в субботу?

— А ты как думал? Тео уже заказал столик.

— Неужели? — усмехнулся Винне. — Тогда самое время взглянуть на этого Тео поближе.

— Сколько угодно, — храбро сказала я.

Ну хорошо, я утерла нос этому выскочке Винне. А что, если он и в самом деле пойдет в субботу в бар? Ему все-таки уже семнадцать, а можно дать и восемнадцать, с него станется! Внезапный интерес к моему «другу» я, конечно, объяснила ревностью. Не могла же я свалять дурака и все рассказать ему про папу. Лишь теперь мне пришлось осознать, куда меня занесло. Но как уговорить Тео пойти со мной в ночной бар?

Постараюсь быть краткой. Мне это удалось. Благодаря маминой неожиданной поддержке. Ничего страшного, если Тео сходит куда-нибудь разок со своей почти взрослой дочерью. И не в какую-то забегаловку или кафе-мороженое, а в бар. Я не могла только вразумительно объяснить, почему непременно в бар «Какаду». Но и здесь мне на помощь пришла мама: «Почему бы и нет, Тео? Это звучит так экзотично! Не правда ли, Сабина?» Да, везение человеку необходимо.

Но, говоря честно, бар этот вовсе не показался мне экзотичным. Разве что переливался всеми красками, словно настоящий какаду. В неровном свете — маленькие столики с низкими креслами, среди которых я казалась еще меньше, чем была на самом деле; до смешного высокие табуретки, на которые я могла залезть лишь с трудом, бармен, насмешливо называющий меня «маленькая фройляйн», да к тому же благопристойная музыка, словно сюда приходят одни только старики, наконец, крошечная площадка для танцев, на которой

могли поместиться самое большее пять-шесть пар. Большого удовольствия я не испытывала еще и потому, что мне приходилось все время и по возможности незаметно наблюдать за дверью. Не могла же я упустить момент появления Винне. Но он явно не торопился. А я то и дело тащу бедного Тео танцевать. Он, в свою очередь, старался как мог и изо всех сил выворачивал ноги и руки. Его, правда, удивляло, что я при каждом скрипе дверей с чарующей улыбкой прижималась к нему. Он буквально умирал со смеху. Но вот кто-то показался в дверях, и моя чарующая улыбка превратилась в гримасу. На пороге вместо Винне стоял Матемлевский.

Конечно, нет ничего дурного в том, что я с моим отцом хожу в ночной бар. Но откуда Матемлевскому знать, что это мой отец. Они ведь еще незнакомы друг с другом. А знакомства этого из-за Винне мне нужно было не допустить во что бы то ни стало. Из-за спины Тео я дружелюбным кивком головы ответила на полный упрека взгляд моего классного руководителя, тем самым преподав ему урок светской учтивости.

Но вскоре дело приняло другой оборот. Очевидно, потому, что Тео к этому времени уже выпил несколько рюмок коньяка. Во всяком случае, мы теперь поменялись ролями, и он с ясным удовольствием играл влюбленного. На сей раз уже он с чарующей улыбкой прижимал меня к себе, важно кланялся после каждого танца, галантно подводил меня к стойке бара, помогал влезть на табурет и к тому же целовал мне руку. Он это делал ужасно смешно. А я все принимала как должное и вела себя как настоящая дама. Одно мне было досадно — нас не видел Винне.

Особенно когда Тео заказал два бокала шампанского.

— Ну что, моя прекрасная фройляйн? — галантно спросил он. — Не выпить ли нам еще разок на брудершафт?

Так мы и сделали. И на этот раз с полным соблюдедением всего ритуала.

Я была вознаграждена за все, когда увидела, как возмущенный Матемлевский покидает бар.

Конечно же, этим дело не кончилось. Но все оказалось куда забавнее, чем можно было предположить. В понедельник, едва переступив порог класса, Матемлевский вызвал меня к доске.

— Сабина. После урока зайдете к директору. Его интересует, что вы по субботам делаете в ночном баре.

Взглянув на лица одноклассников, я осталась очень довольна. А главное, Винне выглядел так, словно вынужден был в корне пересмотреть свое мнение о вчерашней «малышке».

Кстати, объяснение с директором, как и следовало ожидать, прошло довольно дружелюбно. Мне достаточно было сказать правду, и меня сразу же отпустили, однако с одним условием, что мой папа иногда все же будет наведываться в родительский комитет. И это я, кроме всего прочего, должна была деликатно сообщить Тео, а вернее — папе.

Самое большое удовольствие я получила при обсуждении моего «проступка» на классном собрании. Здесь, к моему удивлению, выяснилось, что не я одна виновата в истории «с Тео в ночном баре». Винне пришлось признать, что и он в определенной степени способствовал этому. Да, он даже признал, что неверно судил обо мне, что я расцениваю как свой большой успех.

Кстати, именно это и побудило меня дать обещание окончательно порвать с Тео. А такое обещание в моральном, так сказать, отношении производит неплохое впечатление.

Иоахим Новотный

ПРОЩАЛЬНАЯ МЕЛОДИЯ ДЕТСТВА

К сожалению, я не принадлежу к молодым людям, отличающимся быстрым умом. Обычно мне требуется разгон, прежде чем меня осенит какая-нибудь идея. Все может начинаться и во сне. Рано заваливаюсь в постель, и вдруг кто-то кого-то избивает, или снится что-то, что, собственно говоря, уже не существует в природе. Почему это вижу во сне я, не могу объяснить. Во всяком случае, это меня мучает. Я мечусь в постели, я... Но об этом я не рассказываю даже Лутцу.

Еще в полусне я внезапно слышу голос матери, какой-то непривычно сварливый.

— Я знала, что так будет. Я знала.

— Ну и что? — слышу я грубый бас отца. — Что толку, что ты это знала? Старик все еще там.

— Не говори так о моем дедушке!

— Может, он не старый?

— Так не надо его сразу сдавать в утиль.

— Как будто это возможно! Такой упрямый старый растрепа, уж он о себе напомнит.

— Ага, растрепа!

— Мне приходится выслушивать на улице: почему он не уходит в дом для престарелых, где ему будет хорошо? Почему он остается там? Последний.

— А если он не хочет?

— Что значит: не хочет? Кто меня спрашивает, чего я хочу? Мне приходится выслушивать упреки. Это был человек из окружного руководства, девочка моя.

Если отец говорит матери «девочка моя», то дело либо очень хорошо, либо очень плохо. Догадаться об

этом должен я сам. Во всяком случае, мать знает, на что ей можно рассчитывать. Она меняет интонацию.

— А если тебе все-таки еще раз туда съездить? Поговорить с ним?

— И не подумаю! Чтобы он снова сбежал от меня, как от глупого мальчишки? Кроме того, мы послезавтра едем в Исполиновы горы! Все!

За этой радующей сердце беседой следует то молчание, из коего ловкачи способны состряпать целые романы. Я ерзаю в постели, как будто удары достались именно мне. В конце концов я встаю. В дверях я хрипло произношу нечто такое, что при большом желании можно истолковать как приветствие. Желания нет, и ответа я не получаю. Когда я выхожу из ванной, сцена переменилась. Мать бодро стучит чашками, а отец жует, читая при этом газетную рубрику «Бывает и такое!». Она на предпоследней странице, внизу слева. А вообще в мире восстановлен порядок. Я бы охотно показал им, что отлично вижу, какая идет игра. Но мне ничего не приходит в голову. Я беру портфель и молча ухожу.

Немного позже немецкий язык у фройляйн Броде. Она — сама уверенность.

— Женнинг, я знаю, ты сегодня подготовился.

Чтобы не слишком разочаровать ее, я по крайней мере встаю. Мне сразу же приходится применить самое сильное оружие — «наивняк». Обо мне говорят, что у меня жидкие белокурые волосы и голубые глаза. Однако никто не знает, что я не такой. В душе я кареглазый, почти задумчивый человек, который в решающий момент может быстро нанести удар. Но сейчас не тот момент. На уверенность фройляйн Броде можно реагировать только голубыми глазами.

— Я думал, что нам это не задавали...

Почти разочарованно я констатирую: она мне верит и вызывает Гундулу Фишер. Та может. Всегда все может. Пока она говорит, уверенность фройляйн Броде подкрепляется хорошим мнением об уровне знаний нынешних учеников.

Потом физкультура. Прыжок через коня. Лутц испускает хриплый торжествующий крик. Гундула Фишер смотрит на меня, вся восторг, с другого конца спортзала. Хабих ставит пятерку.

И только я знаю, что прыжок недействителен. Я не умею его делать. Я боюсь его и всегда приземляюсь задом на последней трети коня. Чистая случайность, что на этот раз я через него перемахнул. Но разве здесь кто-нибудь хочет это знать?

Затем обществоведение у Качера. Урок тянется как резина. Качер говорит о роли государства. Государство — это также и мы. Государство — это также и я. Если я правильно понимаю Качера, то и он видит меня голубоглазым. Если бы он знал, как утомительно непрерывно глазеть вокруг столь истинно немецкими глазами. Я, кажется, дремлю с открытыми глазами — вижу утренний сон, слышу отца и мать, уверенную фройляйн Броде, ощущаю страх перед прыжком. Герр Качер толкует о всестороннем укреплении, тут пора бы выдать идею, но, пока она приходит, звенит звонок.

Вечером Лутц ставит японский кассетник на край контейнера и запускает на полную мощь. Я не отношусь к тем, кто, слушая наимоднейший хит, тут же от восторга напускает в штаны. Мне всегда милее позавчерашний рок, но об этом никто не знает. Ведь в конце концов никого не касается, что я терпеть не могу романтический рев этих так называемых певцов. У кого хриплая глотка, тот пускай пьет виски, а не полощет горло лимонадом. Знатоки меня поймут. Дикси, конечно, в экстазе. Причем всегда от всего, что модно. Она покачивается, подымает взоры к верхушкам деревьев, хоть неспособна отличить дуб от липы. Меняя кассету, Лутц

прислушивается к шуму мотора, работающего на высоких оборотах.

— Это опять он.

— Кто? — спрашивает Дикси, как будто только что свалилась с луны.

Шум нарастает. Площадка для контейнеров расположена далеко от жилых домов. Говорят, что раньше здесь был загородный ресторанчик. Тяга к лесу. Столы под деревьями, пиво в высоких бокалах, детская болтовня. В этом духе. Теперь главная улица проходит по ту сторону нового района города. Кроме тех, кому надо выбросить старые диваны и рождественские елки, служащих спецавтохозяйства и нас, сюда не приходит никто, разве что заварится какая-нибудь каша! Мотоцикл на самых высоких оборотах мчится к развалинам дома, резко описывает кривую и рывком выезжает за кусты.

— Идиот! — говорю я.

— Болван, — соглашается Лутц.

— Не Гунди ли была на заднем сиденье? — спрашивает Дикси.

Она имеет в виду Гундулу Фишер.

— Ну и что? — вопрошает Лутц.

Он нажимает клавишу и предоставляет ответ магнитофону. Мы стоим и слушаем. Но потом я прислушиваюсь уже не к музыке. Потому что, когда Лутц приглушил звук, я даже не переступаю с ноги на ногу. Что же до Дикси, то она реагирует на относительную тишину разочарованным возгласом: «Э!»

Лутц уставился на угол, за которым исчезла тяжелая машина. Убедившись, что ничего не происходит, он говорит:

— Между прочим, сегодня утром был мощный прыжок.

— Кого это интересует? — резко спрашиваю я.

На этот раз музыка не дает ответа. Мы молчим.

Из этой ситуации, при наличии некоторой ловкости, также можно было бы сделать роман.

Наконец мы снова слышим шум мотоцикла. Лутц врубает магнитофон. Просто невероятно, как он орет! Дикси от восторга подтанцовывает, уставившись на розовую полоску над вечерним горизонтом. Сценой, которая представляется нашему взору, приходится наслаждаться Лутцу и мне. Гундула тесно прижалась к кожаной спине типа. На несколько секунд вой электрогитары тонет в шуме выхлопов. Я отворачиваюсь, под ноги мне попадается консервная банка, и я швыряю ее в стенку контейнера. Этот освобождающий удар служит зарождением подходящей идейки. Лутц плюет в том направлении, где исчез мотоцикл, и кричит, перекрывая вой мага:

— Э, я кое-чего жду!

Отвечать приходится Дикси.

— Стерео?

— Вздор! Мопед. Правда, подержанный. Понадобятся денежки на ремонт. А вообще машина классная. Дает семьдесят в час.

Я молчу, жду появления идеи. Зато Дикси сразу в полном восторге.

— Шикарно, ты сразу возьмешь меня с собой, да?

Лутц смотрит вверх на дорогу и мрачно говорит:

— Слушай, этот мопед на одного.

Затем он переводит серые глаза на меня. Вне всякого сомнения, он ожидает, что я воздам должное радостным перспективам. Но в этот момент я ничем не могу ему помочь. У меня такое чувство, будто я только что сделал открытие и меня со всех сторон дружески толкают в бок. Я с трудом говорю:

— Послушай, надо бы кое-что сделать.

— Что, черт возьми? — кричит Лутц.

— Что-нибудь толковое, — говорю я.

— Нет ничего!

Лутц хлопает себя руками по бедрам; Дикси, которая все всегда понимает по-своему, покачиваясь, быстро приближается ко мне. Я останавливаю ее:

— Прекрати, я серьезно говорю.

— Он серьезно говорит! — Лутц не может прийти в себя от разочарования.

— Да! — кричу я. — Это должна быть отличная штука! Что-то точное. Люди должны говорить об этом.

Лутц щупает лоб.

— Вообще-то ты здоров, а?

Я не люблю, когда на меня так нападают. Даже лучшие друзья не имеют права на это. Я невольно поднимаю сжатые кулаки. Но это, наверно, не то, что надо делать. Лутц в полной растерянности качает головой.

— Послушай, старик, — говорит он, — мопед стоит в старой части города. Случайно у нас завтра одна из любимых свободных суббот. Думаю, мы осмотрим эту штуковину.

— Не, — говорю я, — завтра я занят.

Об этом я узнаю только в эту секунду.

Идея долго не дает мне уснуть. Наконец я засыпаю. И только когда меня будит мать, я снова нахожу эту идею хорошей.

— Марш из постели, быстро! Отец уже выводит машину из гаража. — Она совершенно серьезно называет «трабант» машиной. — Давай, давай, прыг-прыг!

Не могу отказаться от мысли, что она путает меня с жеребенком.

— Если бы ты знал, куда мы сегодня поедем!

Я знаю. В Исполиновы горы. Это сама по себе неплохая цель. Но, во-первых, я не испытываю ни малейшего желания провести целый долгий день в обществе родителей, вообразивших себя автотуристами, а во-вторых, у меня намечено кое-что другое. Я решительно по-

ворачиваюсь к стене. Входит отец. За ним плывет облако не полностью сгоревшего горючего. Мать делает вид, что растеряна.

— Мальчик! Думаю, он не хочет ехать с нами.

— Как?

Когда бас отца переходит в шипение, необходимо действовать. Я моментально встаю, потягиваюсь в дверях и говорю как бы вскользь:

— Я еду к дедушке.

— Что?!

Отец ошеломлен.

— Ну, кто-то же должен о нем позаботиться, — говорю я как можно агрессивнее.

— И это хочешь сделать ты?

— Да, я.

Это своего рода проба сил. Пусть почувствуют, что наступили новые времена. Отец готов взорваться. Однако мать выводит его из игры. Я слышу, как за дверью она уговаривает его:

— Оставь! Может, оно и хорошо. Мне и так было не по себе при мысли, что мы носимся в горах, а старый человек сидит там один.

— Ах, — говорит отец, — бедный старик! И надо же тебе послать именно мальчишку.

А так как мать ничего не отвечает, он после короткой паузы добавляет:

— Делайте что хотите.

Он проходит через кухню, не глядя на меня. Захлопывает за собой дверь.

Мать наливает что-то, может быть, чай, в термос. Когда жидкость начинает булькать, она обретает дар речи:

— Как ты туда доберешься? Ведь это как-никак двадцать километров.

— На велосипеде, — отвечаю я таким тоном, как будто должен объяснить, что человек, как правило, существо двуногое.

— Совсем один?

— Один.

Это я говорю как можно спокойнее. Если речь идет о вещах, которые касаются меня, я обо всем могу поговорить с матерью. Но то, что я не отказался бы, если бы меня сопровождала некая Гундула Фишер, это кажется мне слишком щекотливой темой. Мать успокаивается.

— Ну ладно, — говорит она, — ты уже был там несколько раз. Найдешь дорогу. Передай дедушке привет.

— Больше ничего? — допытываюсь я.

Непрерывная ходьба матери между столом и холодильником прекращается. Очевидно, я затронул тему, которую она не хочет обсуждать со мной.

— Что еще? — спрашивает она и начинает резать хлеб. Стало быть, голова ее свободна для всяких наставлений. — Будь осторожен, слышишь? Езжай справа. И сразу иди к дедушке. Там опасно.

Я хватаю свою сумку и спасаюсь бегством.

Последний опасный момент. Отец ждал «трабант» семь лет. Теперь его настроение зависит от карбюратора. И действительно, я вижу, что он стоит в облаке выхлопных газов, недоверчиво прислушиваясь к стуку мотора. Выталкиваю велосипед из подъезда и жду, когда его недовольство сомнительно функционирующей техникой перекинется на меня. Но для этого нет времени. Наверху раскрывается окно. Женский голос пронзительно кричит:

— Какая наглость! В субботу!

Ему вторит ревущий бас:

— Загрязнение окружающей среды!

Кричат, должно быть, недавно переехавшие сюда супруги, о которых соседка говорит, что они превращают ночь в день. Как бы то ни было, отец чувствует себя

задетым. Он бросается на сиденье и выключает двигатель. Окно захлопывается.

Пользуясь случаем, я проскакиваю на узкую тропинку между разросшимися декоративными кустами. Когда я начинаю крутить педали, я почти не чувствую их сопротивления. Где-то за седьмым жилым кварталом стоит утреннее солнце. Мы сумеем им насладиться.

Сперва подъезжаю к магазину, беру три большие бутылки пепси и становлюсь в очередь к кассе. Удивительно, чего только не покупают люди. Молоко, булочки, маргарин. Этим же не прокормится ни один разумный человек. Я беру из корзины перед кассой две пачки жевательной резинки.

В это время кто-то дергает меня за рукав. Дикси.

— Ты уезжаешь?

— Да.

— Куда?

— Ты не знаешь. Сорбская деревня. Вуссина.

— Это далеко?

— Тридцать семь километров.

— Если ты подождешь, пока я накормлю братишку, то я поеду с тобой.

В ее корзине несколько банок с детским питанием. От одного вида этой коричневой кашеобразной массы мне становится дурно.

— Нет, послушай, — быстро говорю я, — из этого ничего не выйдет. Тут дело срочное.

— Ах, вот как, — говорит Дикси. Это звучит как «жаль!».

Мне трудно лгать, но так же трудно сказать правду.

В семье Дикси пятеро детей, она самая старшая. Мой отец говорит: «Не пройдет и четырех лет, как она будет покупать детское питание для своих». Он не особенно хорошо отзывается об этой семье. Отец Дикси получил от государства кредит. Днем и ночью он вкалывал на строительстве дома, как юркая рыжеволосая

обезьяна. Он хотел все сделать один. Даже сам внес изменения в проект дома. В конце концов все деньги были израсходованы, а дом готов только наполовину. Тем не менее они вселились. Отец Дикси сменил место работы. Теперь он часто работает в ночную смену на ТЭЦ — из-за денег. Мой отец называет его «буржуем». Мой отец работает в отделе по надзору за строительством и в свое время высказался за кредит. Теперь он отворачивается, когда мы проходим мимо «новостройки». В довершение судьба еще раз свела их. Оба, не сговариваясь, вызвались клеить обои в нашем классе. Мой отец потому, что надеялся удостоиться упоминания в каком-нибудь отчете. Отец Дикси рассчитывал на сверхурочную оплату. Он сразу взобрался на стремянку. Хотел, чтобы все было сделано быстро и основательно, но уронил намазанные клеем куски обоев, прежде чем мой отец, который разглаживал обои, успел выпрямиться. Дикси, конечно, захихикала. Я быстро вышел с ней в коридор. Но отец сохранял спокойствие. Он вытер клей и сказал стройнадзорным голосом: «Так нельзя, товарищ. Больше дисциплины!» Отец Дикси сразу был готов помириться. Он протянул моему отцу бутылку пива, но она была отвергнута.

Во всяком случае, мы продолжали работу. Дикси отвела со лба соломенную прядь волос, она так и светилась от усердия, и взяла у меня ведро воды, которое я налил в туалете. При этом она коснулась пальцев и шепнула мне:

— Здорово, а? Как будто мы муж и жена.

Тогда я с большей охотой стал помогать своему отцу.

Она часто смахивает волосы со лба. Так и теперь, когда стоит рядом со мной в очереди.

— Вперед не лезьте! — говорит женщина позади меня. Она отталкивает Дикси и наступает мне на пятки.

— Кто тут лезет? — шиплю я.

Некрасивые девушки и своенравные женщины приво-

дят меня в ярость, но тут подходит моя очередь платить.

— Подожди! — кричит Дикси, когда я собираюсь отъехать.

Нет, я не буду ждать. Я же что-то наконец делаю. Что-то нужное. И никто меня не удержит.

— Тогда я пойду смотреть мопед вместе с Лутцем, — кричит Дикси.

— Давай! — кричу я в ответ.

Затем мир предстает во всей красе. Голубое небо, пышная белая пена цветущих деревьев, сумасшедше щебечущие, захлебывающиеся, заливающиеся птицы. В быстром темпе я проезжаю мимо дома, где живет Дикси. Рывком перевожу велосипед на дорогу, ведущую за город, и моментально попадаю в ад: чад выхлопных газов, вонь сгоревшей резины, агрессивный вой моторов. После каждого обгона меня оттесняют вправо. Моей руки касаются бледно-желтые листья, которые уже, собственно, должны были бы быть по-майски зелеными. Те, кто сегодня в пути, забывают о весне, пока не найдут место для стоянки. Тогда они соблаговолят обратить внимание на природу, не отходя, впрочем, слишком далеко: необходимо присматривать за лакированным чадом.

При первом же удобном случае я съезжаю с дороги на узкую кочковатую тропинку и попадаю в сосновый лес. Через десять минут я останавливаюсь. Кукует кукушка. Кричит сойка. Стучит дятел. И тишина...

Я нажимаю на педали, склоняюсь над рулем. Двадцать минут спортивной езды, ни единого взгляда направо или налево. Асфальт убегает назад, шуршат шины. Еще десять минут! Наконец ощущаю легкую боль в легких. Итак, предел достигнут. Велосипед едет по инерции. Когда боль утихает и мое дыхание становится спокойным, я оглядываюсь. Тот же лес, что и был: сос-

ны, сосны, сосны, сосны. Высокие стволы, молодая поросль, заповедные места. Ни кукушки, ни сойки. Только дятел. Он постукивает там, где зелень густа, голубизна неба ярка и дурманящ аромат дня.

Не спеша еду дальше. Справа открывается раскорчеванный участок леса. Солнце сверкает над пронзительно пахнущим гладким песком. Через несколько километров я проезжаю мимо автоприцепа, груженного бутовым камнем. Он стоит справа, наклонясь к кювету; «серьга» лежит на земле.

Наконец-то дорожный знак. Красный и чужой, в этой зеленой и коричневой местности он предупреждает о каких-то опасностях... Я увеличиваю скорость. Это предупредительный знак перед переездом. Не успел я подъехать, как, словно по мановению волшебной палочки, опускается шлагбаум. При случае я совершаю короткий слалом. Но теперь у меня другое настроение. Останавливаюсь, свешиваю ногу на руль, упираюсь локтями в седло, подложив руку под голову. Сейчас пройдет поезд. А что, если на меня посмотрит какая-нибудь девушка? Иногда я позволяю себе такие ни к чему не обязывающие надежды. Итак, она смотрит на меня — задумчиво, отрешенно, многозначительно. У нее будет о чем помечтать...

Деревья, растущие по обочине, стоят, будто застыв от ужаса. Рельсы теряются в тумане бесконечной прямой. Затем раздается гудение, свист, грохот. Поезд с шумом проносится мимо. Длинная лента высоких красных вагонов, верхняя половина которых сужается кверху. Если бы над бортами не был навален бурый уголь, я бы посчитал, что мне привиделась сцена из фантастического фильма.

Прежде чем я ставлю ногу на педаль, шлагбаум беззвучно поднимается.

Утомительно тянется дорога, усеянная огромными выбоинами, вокруг поблескивают острые камни. Широкие прямые просеки, деревья, стволы, корни, ветки,

хворост, тропинки, которые некогда, наверно, звали прогуляться, загорожены щитами с надписью: «Внимание! Горные работы! Вход воспрещен!» И выше верхушек самых высоких деревьев в небо поднимаются опоры высоковольтной линии электропередачи без проводов.

Невольно увеличиваю скорость. Скорей проехать это место! До деревни уже недалеко.

Нет, еще далеко. Дальше, чем я думал. Еду медленно, неуклюже, делаю семь мучительных поворотов и беру три подъема. Наконец-то мчу вовсю. Вот и долина. Проезжая мимо криво висящего дорожного знака с названием деревни, я облегченно вздыхаю.

Ганс Вебер

МОЗЕС-ЗАДАВАКА

В каникулы я принял решение начать новую жизнь. С самого первого дня занятий в школе. Буду делать все домашние задания, перестану отвлекаться на уроках, паясничать и задаваться... И еще — хватит выдумывать всякие небылицы. Иной раз представлю себе, что все вокруг не взаправду. А я смотрю кино, и я же режиссер или главный исполнитель.

И вот на уроке географии... Нашего учителя географии звали Пиккрим. У него все страны состояли из пяти пунктов: ландшафта, экономики (назови все пять видов полезных ископаемых!), политической структуры, истории и особенностей.

— Полезные ископаемые, Франк Мосманн!

Пиккрим чем-то немного смахивал на какого-нибудь главаря банды, только невезучего. И щетина, и крепкая, широкая грудь настраивали на печальный лад.

Я попытался наскрести все пять полезных ископаемых.

— Уголь, железная руда, олово, боксит...

— Дальше.

— ...и другие, — закончил я.

— Другие, Мосманн, бездарь этакая, другие — это вольфрам! Один вольфрам. Используется в лампочках, ибо да будет свет. Свет, Мосманн! Пусть и тебя хоть раз озарит.

Класс покатился со смеху.

— Но там еще кое-что есть, господин Пиккрим.

Наглости, надо сказать, у меня всегда хватало.

— Вот как? И что же?

— Там золото нашли. Вчера ночью. В учебнике пока ничего об этом не написано.

Самое странное, что в таких случаях я сам твердо верил в это.

Пиккрим неспешно, угрожающе приближается ко мне. Останавливается. Неплохо у него получается. Умеет же преподнести себя в кадре! Средний план.

— Сказать тебе, Мосманн, что нашел я? Что ты всего-навсего жалкий выдумщик!

Тут у него в тексте неинтересное место. Я быстро подношу к глазам рамку из больших и указательных пальцев, проверяя кадр: Пиккрим, главарь гангстеров, средним планом, кроет своих сообщников, проспавших решающую ночь, когда размечали участки. Больше всего, он зол на меня, ведь я «самый способный среди его людей». Но я с невозмутимым видом стою, прислонившись к спинке парты, еще бы, самый золотоносный прииск давно у меня в кармане. В тот момент, когда я скажу ему об этом, надо будет подвести камеру как можно ближе. Как он удивится, у него челюсть отвиснет. Теперь моя очередь подавать реплику.

— Кто знает, что там еще откроют.

У Пиккрима отвисает челюсть. Быстрый наплыв камерой. Получилось. На сегодня конец съемок.

— Мне надо побеседовать с твоими родителями, — говорит учитель Пиккрим.

Вот оно, возвращение в унылую действительность.

На перемене, позабыв все добрые намерения, я опять принялся за старое. Нес что-то об одном пляже на Балтике, где мы с дружками будто бы наводили на всех страх. Зато перед Эльке я трусил, не заговаривал с ней, внушая себе, что самое умное пока не замечать ее совсем. Послушав меня некоторое время, она, удивленно подняв брови, взяла свой завтрак и пошла на школьный двор.

Итак, начать новую жизнь, избавиться от плохих черт характера пока не удалось. И все же я остался доволен началом учебного года, так как в этот день я выиграл забег на тысячу метров. А удалось мне это только пото-

му, что перед стартом Бодо заявил, что он, мол, побьет Мозеса-задаваку. И Муха, которого я всегда считал своим другом, хотя он, как мне стало известно, бегал за Эльке, сказал:

— У него старик — директор школы, вот он и задается.

Для меня же этот факт ровным счетом ничего не значил. Мне и в голову не приходило этим хвастаться. Вот если бы у меня отец был летчиком, или капитаном, или дрессировщиком в цирке!

Но раз мне бросили вызов, я его принял. Первые сто метров мы бежали скучившись. Я был не совсем в форме, да и в боку покалывало. И тут закрутился фильм.

Мой отец, известный парашютист, готовился к новому рекордному прыжку. Я узнал, что завистники повредили его парашют. Отец, человек с больным сердцем, идет по летному полю к небольшому самолету. (Почему обреченный на гибель парашютист вдобавок ко всему должен был страдать сердцем, объяснить не могу.) Я должен его догнать, прежде чем самолет взлетит. Вижу, мне удалось оторваться от других. Отец забирается в самолет, дверца захлопывается, приходят в движение пропеллеры. Собрав последние силы, я дотягиваю до взлетной полосы, резко вскидываю руку, подавая пилоту знак и... выигрываю забег.

После этого мне стало плохо. Перед глазами замелькали синие круги, и я свалился у обочины тропинки. Первое, что я услышал, придя в себя, были слова Мухи:

— Чепуха все это насчет директора. Только зачем ты, когда бежишь, так странно рукой взмахиваешь?

— Да так, привычка, — ответил я.

В этот момент мимо проходила Эльке. И я добавил погромче, чтобы она смогла услышать:

— На тренировке я тоже так делаю. Теперь уже не отвыкнуть.

Эта фраза мне жутко понравилась, хотя я вообще не мог припомнить, чтобы когда-либо ходил на трениров-

ки. Нет, эта фраза мне настолько понравилась, что я подумал: это на Эльке подействует. С невозмутимым видом она пошла дальше, а мне отчетливо представилось, какими глазами она теперь будет смотреть на меня — победителя, так откровенно говорящего о своих слабостях. Решив, что на сегодня сделано достаточно, чтобы убедить Эльке в моих достоинствах, я накинул тренировочную куртку, завязав рукава узлом на шее, и покинул место состязаний.

Прибыв домой победителем, я позвонил, дверь открыл мой старший брат Йост. В руках он держал маску для подводного плавания.

— А, Мозес, — произнес он, задумчиво разглядывая маску, и вдруг сунул ее мне. — На, возьми.

Обычно мне позволялось пользоваться этой маской лишь изредка. Каждый раз приходилось упрашивать, и сколько было радости, когда брат надевал мне ее и говорил, подталкивая в спину: «Давай Мозес!» А тут, когда он вот так, безо всякого дарил, меня вдруг охватило безразличие. Я положил маску к своим вещам.

Йост собирал рюкзак.

— Уезжаешь? — спросил я.

Он не ответил. Надел курточку из кожзаменителя, посмотрелся в зеркало, проведя рукой по щетине на подбородке, из-за которой я ему так завидовал.

Я привык, что мои вопросы оставались без ответа. В том-то и проявлялась значительность моего брата, что он всегда поступал так, как считал нужным, никому не давая сбивать себя с толку. Я поэтому не удивился, наоборот, сделал вид, будто знаю, что к чему.

— Твоя новая подружка малость худовата, — заметил я, намекая на Веру, студентку факультета журналистики, с которой брат недавно познакомился.

Но тот невозмутимо продолжал складывать вещи.

— Однако ради нее стоит наделать глупостей, — не переставал я.

Брат и здесь не прервал своего занятия. Немного помолчав, сказал только:

— Послушай, Мозес, не надоедай мне своей болтовней!

Наконец-то беседа завязалась, обрадовался я. Пожалуй, теперь можно было бы рассказать об истории с забегом, но у меня еще было время в запасе.

— Как ты считаешь, женщины могут быть честными по-настоящему? — спросил я.

— Честными? Что ты имеешь в виду?

— Ну, допустим, не только брови подымать, когда ты чего-то добился.

— Да что у тебя за дела с женщинами?

Тут я многозначительно улыбнулся, что определенно бросилось бы брату в глаза, если бы он не был как раз занят бритвой, которую запихивал в рюкзак.

— Ну, так что с девчонками, — спросил он, — доставляет тебе беспокойство?

— Ты можешь представить себе честную девчонку?

— Да, могу.

Брат засмеялся, ткнул меня по-боксерски и с рюкзаком на плече направился к двери.

— Заходи ко мне, когда здесь все малость успокоится. Ты же знаешь, где я.

Я как стоял, так и остался стоять, уронив руки и глядя брату в след. Он был уже в дверях, когда я было рванулся, собираясь бежать за ним. Но выдавил из себя всего лишь одно слово «куда?», прозвучавшее вполне беспомощно.

— Ухожу. Насовсем, — ответил Йост.

— Тогда, тогда и я уйду.

Брат пощупал у меня лоб, словно проверяя, нет ли температуры.

— Тебе-то из-за чего уходить? — сказал он негромко.

Когда за ним уже затворилась дверь, я прокричал ему вслед: «А я выиграл забег на тысячу метров!» Но брат уже не слышал.

Бросившись к окну, я распахнул его и увидел, как Йост сел в трамвай и уехал. Я раскрыл рот, но не смог ничего произнести, да и к чему. Меня охватило оцепенение. Только тут до меня дошло, что Йост в самом деле просто взял и ушел, а меня, как всегда, с собой не взял, да ведь я пошел бы за ним куда угодно: в пустыню, на Северный полюс, всюду.

Ушел и больше никогда не вернется, никогда.

Я пошел в нашу комнату. На стене по-прежнему висел эспандер, который Йост без передышки растягивал по двадцать семь раз (сколько я себя помню, он каждое утро, как только встанет, упражнялся с ним). Вот его книги, полистать которые мне дозволялось лишь после того, как вымою руки. И тапочки его остались стоять под кроватью, так, словно сегодня вечером он, придя домой, сунет в них ноги, повесит на шею полотенце и пойдет в ванную, а я потащусь следом, пытаясь обнаружить у него на лице следы пережитых приключений. Взяв маску, отданную мне братом, я надел ее и пошел в прихожую к зеркалу. Волосы у меня на голове стояли торчком, и маска таращилась на меня своими огромными стеклами. Потом я стал читать записки, засунутые в раму зеркала.

«Вернусь сегодня поздно. Выборы в комиссии торга. Целую, мама». «Ушел на праздничный вечер. Папа». И еще записка Йоста: «Здесь каждый приходит домой от случая к случаю, если у него случайно есть время. В моем представлении семья выглядит иначе, потому хочу создать теперь свою собственную. Вот только Мозеса жаль, ведь ему придется провести еще несколько лет в этом кавардаке. Йост».

Сдвинув маску на лоб, я заметил, что мне на глаза навернулись проклятые слезы. Я фыркнул, как всегда, хотел показать, что мне, дескать, все нипочем. Но вдруг почувствовал, что у меня подкашиваются коленки, и присел на сундук, стоявший перед зеркалом. Я решил тоже написать записку, чтобы доказать себе, что меня

не так-то просто сломить. Например, в таком духе: «Поскольку я здесь, по всей вероятности, совершенно лишний, то делаю соответствующие выводы (такое начало показалось мне подходящим, особенно слово «выводы») и отбываю сегодня же в неопределенном направлении. Ваш сын Франк». Поначалу я принял решение пойти к Эльке. Что толку от любви, рассудил я, если она не готова на жертвы. Я потребую, чтобы Эльке прекратила валять дурака (тоже мне, брови подымать!) и поселилась со мной в каком-нибудь заброшенном сарае, в сотне-другой километров от Берлина. По вечерам будем разводить костер и печь картошку. Картошка показалась мне особенно важной. Пока картошка будет печься, мы будем вести серьезные беседы, только вот о чем, я этого пока не знал. Мне хоть на миг, но все же удалось отвлечься. Я вообразил себя сидящим у костра с такой замечательной девчонкой и удивился, как я сегодня мог так бессердечно обойтись с ней, единственным настоящим человеком. Правда, потом, вспомнив, что Эльке за весь день мне ни разу не улыбнулась, я засомневался. Девчонки же боятся темноты, и к паукам они испытывают отвращение, да и вообще им больше по вкусу молочные кашки, чем картошка в золе. Напрашивалась мысль, что в сарае мне придется поселиться одному.

Я бродил по квартире, как военачальник перед боем или как этот Мегрэ, заподозривший что-то неладное.

Когда я снова поглядел в окно и увидел нашу улицу, где жизнь шла своим чередом, со мной произошло что-то странное, планы об отъезде показались мне вдруг простым ребячеством. И нашу улицу я увидел совершенно по-новому. Не было больше тихой улочки Винцерштрассе. В лицо мне пахнуло терпким сентябрьским воздухом, я услышал шум стройки и обнаружил, что за время каникул дом напротив подрос на три этажа, а садики исчезли, огромный бульдозер выравнивал землю. На тротуаре лежали остатки пестро размалеванного дачного домика. Дома слева от нас, тянувшиеся вниз

к проспекту, уже пустовали, их вот-вот должны были снести.

Я заметил, что машины ехали непрерывной колонной, словно поток, который застывал, лишь когда останавливался трамвай. Тут же раздавались гудки, колонна вздрагивала и сдвигалась, и потом продолжала струиться. И в тот момент, когда я разглядывал свою улицу с водолазной маской на лбу, именно в тот момент, как мне кажется, я обнаружил, что все эти люди там внизу чем-нибудь занимались, ради какой-то цели. Все они делали что-то необходимое, важное. Я же стою здесь у окна и только делаю, что все время чему-нибудь удивляюсь: то двойке по-русскому, то семейным нашим перипетиям, то переменам на улице. И мама чем-то занята, и папа, и Йост.

А я по-прежнему стою у окна с этой дурацкой маской на лбу, стою, и все тут. Единственное, что можно сказать обо мне наверняка, это что я существую. Стало быть, я всем в тягость. Удивительно, что до меня это дошло только теперь.

Потом я представил себе, как расскажу об этом Йосту. Вот я подхожу к нему и говорю: «Извини, пожалуйста, что я краду у тебя еще одну минуту твоей драгоценной жизни. Мне только хотелось тебе сказать, как я раскаиваюсь. Я осознал, что доставлял тебе одни хлопоты. И понимание этого — единственная польза, которую я принес за всю свою жизнь». С этими словами я подношу к виску револьвер, а брат, не ожидавший от меня такого мужественного поступка, в ужасе вскакивает. Улыбаясь, нажимаю на курок. Все кончено с этим никчемным и надоедливым приживалой, которого люди прозвали Мозес. Размечтавшись, я вдруг вспомнил: както раз моему брату — ему было тогда шестнадцать — пришлось взять меня с собой на озеро, потому что родителям было не до меня.

Разозлившись и не обращая на меня никакого внимания, Йост молча принес из подвала велосипед. Я то-

же мужественно потащил из подвала свой велик наверх, по ступенькам подвальной лестницы. Не дожидаясь меня, Йост тронулся в путь. Он уже был почти на углу, когда мне наконец удалось приладить педали и что есть духу броситься за ним вдогонку. Затрудняюсь теперь сказать, почему я тогда не поехал просто один. Пыхтя, я несся за братом, будто от этого зависела вся моя жизнь. Десять минут спустя я понял, почему именно сегодня брат хотел поехать на озеро без меня. На окраине он встретился с девочкой из своего класса. В то время я терпеть не мог его одноклассников.

Ревнуя и потому ненавидя их, я был твердо убежден, что Йост достоин совершенно иных друзей. В присутствии своих сверстников он становился болтуном, нес сплошные глупости, и меня поражало, насколько мой брат мельчал.

А эта девица была, так сказать, пределом всего. Уму моему было непостижимо, как в присутствии такой дуры мой брат мог выдерживать хотя бы пять минут. Началось с того, что она прямо-таки затряслась от смеха, когда Йост мрачно сообщил ей, что я — его брат. Я не находил в этом факте абсолютно ничего смешного.

— Это Мира, — сказал мне брат.

Тут, собственно, настал мой черед смеяться, ибо я подозреваю, что ее полное имя — Мирабель, попросту «слива». Здесь было над чем посмеяться, но я — как уже отмечено — не был настроен слушать подобные шутки.

С этого момента брату стало совсем не до меня, ему же предстояло беседовать с этой Мирабель. Так они и ехали рядышком, в то время как я, нажимая на педали, тащился позади.

Ну а потом началось такое, что мне просто пришлось краснеть за Йоста. Например, чтобы показать Мире, какой он смельчак, брат ехал, отпустив руль. Зачем ему это было нужно? А Мира смеялась, ей вообще все было

смешно. Я подумал: раз он убрал руки с руля, значит, с какой-то целью, может, он хочет похвастаться, намекнуть, мол, вот какой он спортсмен, но ведь не ради потехи. Однако у меня создавалось впечатление, что у Йоста одна задача — смешить Миру, не давая угаснуть ее смеху, как огню под кастрюлей, пока суп не сварится.

В деревне, по которой мы проезжали, он додумался до двух новых, радующих душу развлечений: то погонится за курицей, наезжая на нее передним колесом, то закукарекает.

Я раздосадованно пилил вслед за обоими, неловко себя чувствуя из-за выходок старшего брата и не принимая никакого участия в их беседе. Зачем, они все равно не стали бы меня слушать. Да и что можно было сказать об этом?

— Видала, как Амфибий сегодня смотрел? — спросил Йост. (Амфибий был преподавателем биологии. Они между собой всем давали клички с «й» на конце.) — Спросил меня про эту дурацкую ассимиляцию, я учебник раскрыл и отвечаю, а он пригладил свои три волосинки: «Да, Мосманн, за это можно поставить «отлично».

Йост для наглядности провел рукой по волосам, скорчил жуткую гримасу, так странно вывернув шею, что мне стало стыдно.

— Ну, смотри, Юкки, — засмеялась Мира. Всякий раз, как она называла моего брата Юкки, я прямо-таки лопался со злости. Такое просто недопустимо. Ее «смотри», между прочим, вообще ни к чему не относилось. По-моему, кроме этой фразы, Мира ничего не могла сказать. Я понял это, когда Йост стал ей объяснять, что озеро Горинзее образовалось еще в ледниковый период. Мира и тут ответила:

— Ну, смотри, Юкки.

Однако брат ничего не замечал. Он катил на велосипеде, размахивая руками, корча рожи, и нес всякую

чепуху. А Мира покатывалась со смеху. По-моему, она была по уши влюблена в Йоста и от полноты чувств только и могла, что: «Ну, смотри, Юкки». Когда мы добрались до озера Горинзее, я, прислонив велосипед к дереву, подошел к Мире и спросил, куда, как она полагает, брату надо смотреть больше всего. Несколько секунд она почти с ужасом глядела на меня, в глазах у нее вспыхнула враждебность, а затем она спросила Йоста:

— Твой братан всегда такой странный?

— Да, иногда на него находит, — ответил Йост. Это было предательство. Я отошел к велосипеду, переоделся и решил больше не вмешиваться в их дела. Но тут брат, подойдя ко мне, спросил:

— Значит, Мозес, ты присмотришь за вещами?

Я кивнул, восприняв его слова как своего рода извинение. Вообще-то мне хотелось сказать ему, что понимаю ситуацию, но они уже убежали в воду и поплыли к камышам. Я сел возле велосипедов и стал ждать, опустив голову на колени. Прежде чем заснуть, я вспомнил о временах великой братской солидарности, например, об этой истории с Трикси.

У нас в доме давно жила пожилая женщина, которую мы страшно не любили. Причиной тому была ее несправедливость. За несправедливость я мог просто убить, тут мы с братом были одного мнения. У фрау Яношки (я и по сей день вздрагиваю от одного ее имени) жила внучка по имени Беатрис или просто Трикси. Трикси было шесть лет, а мне — девять. Она была прямо-таки устрашающе худа, какая-то проволочная кукла в связанных теткой одежках, словно намотанных на нее, и к тому же чертовски коварна. Как-то раз, например, она встала у входа в булочную, преградив мне путь. Фрау Яношка тем временем торчала у окна, подозрительно следя, не обижает ли кто-нибудь ее Трикси.

— Отойди, — сказал я.

— Хлеб кончился, — ответила Трикси.

— Исчезни, — сказал я. Уставившись на меня, она закусила нижнюю губу и ни шагу. Я схватил ее за норвежский свитер, пытаясь оттащить в сторону, но Трикси застряла в дверях и завопила.

— Что ты к ней пристал? — закричала фрау Яношка, привлекая внимание прохожих.

— Он все время лезет ко мне, — плаксиво заверещала Трикси.

— Какой безобразник! — кричала фрау Яношка. — Хулиган! Бандит! Все оттого, что родителям нет дела до детей!

Наконец Трикси, усмехаясь, отошла в сторону, и я вошел в магазин. Почему я промолчал? Почему такая несправедливость настолько обескуражила меня, что я и слова не мог выдавить? Я поклялся отомстить, но был бессилен что-либо придумать. После обеда я лег на тахту и заревел, колотя кулаками по подушкам. Может, подкинуть фрау Яношке дымовую шашку через дверную щель... В конце концов я заснул.

Когда Йост вернулся домой, я рассказал ему о случившемся. Недолго подумав, он взял телефонную книгу и, разыскав номер фрау Яношке, набрал его:

— Это фрау Яношка? Улица Винцерштрассе, 36? Мы хотим вас обрадовать: по нашим подсчетам вы только что стали миллионным покупателем в нашем универсаме. Дорогая фрау Яношка, вы выиграли салями!

Я взял у него трубку, не заметив, что в комнату вошел отец.

— Фрау Яношка, — сказал я, — просим вас сегодня же получить приз. — Пока я говорил, Йост смотрел на меня так, будто хотел загипнотизировать. Он-то заметил отца, а мне его многозначительный взгляд ни о чем не говорил. Рядом хлопнула дверь квартиры фрау Яношки.

— Да что же это!.. — Отец схватил меня за шиворот и, оттащив от телефона, замахнулся что есть силы. Надо сказать, что отец никогда меня не бил. В тот

день у него, очевидно, сдали нервы. Наверное, он уже из школы пришел расстроенный и сейчас вместо домашнего покоя, уюта и мира столкнулся с неслыханной наглостью. Итак, он замахнулся на меня, и в этот момент до меня донесся громкий вопль. Йост вцепился в занесенную руку отца и, почему-то не переставая, кричал: «Ничтожества! Ничтожества!» Он кричал это, так сказать, всем взрослым в лицо.

— Отпусти малыша! Отпусти его! Вы — ничтожества! — Он оторвал отцу, директору средней школы, рукав.

На несколько секунд мы все трое окаменели. Йост стоял, как молодой хищник, с холодной ненавистью в глазах (все еще держа, как ни странно, отцовский рукав). Я смотрел на обоих. И видел, что отец в ужасе от этой сцены, которая всего лишь на какой-то миг со всей жестокостью и очевидностью приоткрыла то, что копилось, наверно, годами. Кашлянув, отец вышел из комнаты.

...Я проснулся на пляже, и мне показалось, что прошла целая вечность. Ждать больше не хотелось, я прикрыл вещи и тоже пошел в воду.

Солнце садилось, и озеро совсем затихло. Я поплыл к камышам, добрался до каких-то полуразвалившихся мостков, взобрался на теплые доски и стал ждать. Я не знал, который теперь час. Мне казалось, что, пока я спал, прошло немало времени. Меня внезапно охватил страх: а вдруг что-нибудь случилось? Осторожно спустившись в воду — здесь было неглубоко, — я побрел вдоль камышей. Потом я остановился: мне почудилось, что зовет Йост.

Брату грозит смертельная опасность. Ему в спину вонзилась стрела, он пока еще жив. Мне нужно как можно скорее разыскать его, иначе уже ничто не поможет. Стало холодать, поднялся ветер. Иду, увязая в полной

опасностей воде. Нет, я не сдамся, пока не найду своего брата.

Внезапно послышался шорох. Я осторожно развел стебли камыша. И тут увидел такое, что остолбенел. Йост и Мира стояли в мелкой воде на коленях, уставившись друг на друга с таким серьезным видом, будто открыли какое-то чудо.

Я отпустил стебли, и занавес сомкнулся, я отступил на несколько шагов назад, сел в камышах, и мне стало холодно. Потом я заполз еще глубже в заросли камыша, как животное в ожидании смерти. Так я и сидел там, посреди камышовых зарослей, подперев голову руками. Младший брат, покинутый неизвестно где. Я, Мозес, случайно оказавшийся здесь, в этой точке земли. Как я попал сюда? Кто я? Куда мне идти?

Бенно Плудра

УМЕР ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК

Никто не мог сказать, куда пошел мальчик и когда он ушел после того, как был с мужчинами. Он был маленький, с заплаканными глазами. Умер его волнистый попугайчик.

— Твой волнистый попугайчик, — сказал кто-то, — это печально.

Они мало знали мальчика. Он жил со своим братом в комфортабельной палатке, великолепной желто-синей палатке, конечно, с холодильником. Отец приезжал только по субботам и воскресеньям, а иногда и совсем не приезжал, у него еще не было отпуска, и он, очевидно, был занят какой-то важной работой, технолог или кто-то в этом роде; мать здесь еще ни разу не видели. Брат был старше, лет семнадцати, крутился с девчонками. Мальчик, обычно предоставленный самому себе, удил рыбу, купался или мечтал возле палатки. Ему было девять лет, а может, уже и десять, у него были соломенные волосы и слишком короткая верхняя губа, и казалось, будто он постоянно о чем-то размышляет.

В этот день, среду, стояла тридцатиградусная жара. Палаточный лагерь на бранденбургском песке изнывал от зноя. У воды были деревья, там и находились мужчины, и мальчик оставался с мужчинами в тени деревьев. Мужчины сооружали лодку типа «дельфин», они в этом деле не разбирались и на каждую планку тратили по минуте. На них смотрели несколько женщин в бикини, в большинстве еще молодые, но многие уже настолько круглые, что трудно было сказать, что из них выйдет в будущем. Мальчик рядом с ними выглядел особенно худеньким, как коноплянка, у него были заплаканные глаза, и они спросили его:

— Что с тобой? Ты плачешь?

Он сказал, что умер его волнистый попугайчик, и сразу убежал, а кто-то сказал: «Твой волнистый попугайчик, это печально», а еще кто-то добавил: «Неудивительно. При такой жаре. В палатке. Тут и лощадь не выдержит».

Но волнистый попугайчик умер не в палатке. Он умер дома, в квартире, в комнате мальчика, потому что отец забыл о нем.

Потом мальчика никто не видел, да и никто не вспоминал о нем. О нем заговорили только вечером, когда его брат бегал и спрашивал:

— Кто-нибудь видел Анди?

— Анди? — удивленно спрашивали некоторые, но потом догадывались, что это имя мальчика, но его никто не видел.

Было время ужина, шипели газовые горелки, а комары тучами накидывались на любой кусочек обнаженной кожи — пищи им было предостаточно. Кое-где уже мерцали фонарики, но небо еще было светлым.

Наконец старший брат побежал к воде. Там купались дети, кричали, как дикари, брызгали друг на друга. Анди среди них не было.

— Не, весь день нет.

Старший брат ощутил в сердце страх. Он ведь знал, какой малыш: чувствителен до слез. Он сообщил ему не без жестокости: «Твоя птица умерла. Сдохла с голоду».

И теперь он чувствовал страх за Анди.

Дети больше не купались, их голоса перекликались между палатками, узкое озеро блестело в лучах вечерней зари. Противоположный берег почернел.

Старший брат прислушивался.

— Анди! — сказал старший брат. — Анди! — повторил он и повернул голову к воде, тростнику, черному тихому берегу и услышал, как прыгают рыбки, как возятся в тростнике утки, услышал вдруг магнитофон,

услышал, как поет Бонни Тайлер. «Это печаль, — пела она, — это печаль», и песня так подействовала на него, как никогда раньше.

Отец приехал вскоре после полуночи. Об Анди все еще не было ничего известно, старший брат сидел на корточках у палатки.

Он звонил домой, и вот он увидел, как остановилась белая «Лада». Машина подъехала тихо, отец вышел, дверца осталась открытой, фары погасли.

Мальчик встал и продолжал стоять возле палатки, отец был меньше его ростом. На нем была клетчатая рубашка и светлые джинсы, двигался он быстро.

— Где он? Что случилось?

— Попугайчик, — сказал юноша. — Я подумал, что надо сразу ему сказать, такой был случай.

— Случай, — повторил отец.

— Тогда в следующий раз сделай это сам, — сказал юноша.

Они стояли друг против друга, отец был ниже на целую голову. Палаточный лагерь спал, небо все еще было светлым. Бледное лицо отца казалось еще бледнее, на загорелом лице юноши блестели глаза.

— Надо сообщить в полицию, — сказал он.

Отец ничего не ответил, только слегка повернул голову, как будто кто-то появился сбоку, и юноша понял, что он совершенно растерян.

— В полицию, — повторил юноша.

— Среди ночи?

— Могло же что-то случиться...

— С Анди? С Анди ничего не случится.

— Если ты в этом уверен, — сказал юноша, — то почему ты приехал?

Отец вошел в палатку, здесь тоже было достаточно светло. Он закурил сигарету, присев на складной стул, и замолчал, а юноша смотрел на него. Затем отец сказал:

— Насколько я тебя знаю, ты особенно не стеснялся, когда сказал ему об этом.

— Только то, что узнал от тебя, — возразил юноша. — Смерть есть смерть, и для птицы тоже.

— Я просил тебя ничего не говорить, — сказал теперь отец.

— Он все равно бы узнал как-нибудь.

— Я бы сказал по-другому, не как-нибудь. И принес бы новую птичку.

— Ах, вот как, — сказал юноша, — сразу принес бы новую птичку. И попытался бы ее всучить под видом старой?

— Да, я думал об этом, — согласился отец.

— Ну да, почему бы и нет?

На вторую сигарету, взятую из верхнего кармана рубашки, отец долго смотрел, а потом спросил:

— Почему ты остался со мной?

— Почему я что?

— Почему ты остался со мной? Не ушел вместе с ней месяц назад?

— С мамой? — спросил мальчик.

— Да, с мамой.

— Я не хотел, — сказал мальчик. — Перед самыми экзаменами, и все мои ребята здесь. Я не хотел уходить, ты же это знаешь.

— Знаю, да. А Анди? — спросил отец.

— Анди?

— Почему не ушел Анди?

— Он хотел остаться с тобой, разве он тебе не сказал? И, кроме того, ему не понравились маленькие домики.

— Маленькие домики? — спросил отец.

— Там, внизу, где сейчас живет мама, сплошь маленькие домики.

— И он захотел остаться со мной?

— Вроде того...

Отец сунул в рот сигарету, поднял зажигалку, но пламя не вспыхнуло, отец вынул сигарету.

Юноша прислушался, повернув голову туда, где в деревьях зашелестел ночной ветерок.

— Что-нибудь слышишь? — спросил отец.

— Я бы на твоем месте обратился в полицию.

— Ты не на моем месте. Иди спать.

— Как тут спать? Ты спишь?

Юноша сидел на втором складном стуле. Это были удобные стулья, но юноша сидел, согнув спину, напряженный и как бы готовый к прыжку.

— Сядь поудобнее, — сказал отец. — Если ты заснешь как сидишь, то у тебя потом будет болеть спина.

— Я не засну, я не сплю.

Тут отец закурил свою вторую сигарету.

— Когда опять начал? — спросил сын.

— Сегодня, сейчас.

— Удивляюсь, как ты можешь спокойно сидеть.

— Спокойно?

— Ты сидишь и куришь, как будто мы ждем гостей.

— Не то, — возразил отец, — я в гостях, теперь мы ждем, что придет Анди.

— Ждем, — сказал сын.

— Ждем, — повторил отец.

Они почти не смотрели друг на друга, слушали ночные звуки над палаткой. Совсем далеко, очень далеко прошел поезд. Потом — второй, и отец сказал:

— Просто не верится, что тут слышны поезда.

Юноша не ответил, он внезапно заснул: голова свесилась набок, руки сложены на коленях. «А потом будет болеть спина, — подумал отец, — опять он сделал по-своему».

Он опять сделал по-своему... Но где же Анди? Анди нет, волнистый попугайчик умер, старший брат сказал ему... «Если Анди не вернется?..» — подумал отец.

Он подумал об этом как бы в оцепенении, сидя с третьей сигаретой в руке, смотрел на сына. Всегда от-

личные оценки. Девчонки за ним гоняются. Для Анди высший авторитет — брат. И на тебе: смерть есть смерть, и для птицы тоже.

Отец смотрит на сына. Между ними отчуждение, откуда оно? Живешь в полном взаимопонимании и гармонии, но даже не знаешь, какие уши у мальчика: маленькие, большие, тонкие, толстые, думал, что слишком большие. У него мягкие, круглые. Они у него от мамы. Она теперь живет там, где маленькие домики. После восемнадцати хороших лет? Кто сможет в этом разобраться?

Палатку она терпеть не могла и многое другое не любила, например слишком точные часы, автотуризм и Розали. Но Розали давно исчезла, да и не была тем самым важным, из-за чего приходится уходить после восемнадцати прожитых лет. И другого мужа у нее не было, не было и другой профессии, некоторым образом, ничего не было. Некоторым образом, так сказать, кто тут разберет! А это четвертая... пятая, последняя сигарета, начинается утро.

Приходит утро, и приходит усталость.

И приходит Анди. Из тумана между деревьями, из-за последних палаток появляется Анди, действительно Анди, но никто не замечает его, отец и старший брат спят. В желто-синей палатке с откинутой занавеской.

Анди стоит тихо, деревья и палатки стоят тихо, потому что утро еще не проснулось как следует. Оно потягивается в первом белом свете, поднимается и падает в отзвуках птичьего щебетанья. Никого нет, кроме Анди.

Он идет к спящим, очень медленно, шаг за шагом.

Отец здесь. Они его ждали. Они искали его. Как хорошо. Но об этом Анди теперь не думает, он садится на третий складной стул. Садится, сидит и смотрит на отца и брата, как они спят, оба уронили голову на грудь. Они тяжело дышат, смотреть на них смешно.

«Если я теперь закричу, — думает Анди, — опрокину

стол и закричу, что оии станут делать? Умрут от страха?»

Аиди ие кричит и оставляет стол в покое, как он стоит, и пепельиицу с пятью иаполовииу выкурeииыми сигаретами. «Пять, — думает Аиди, — он курил, больше этого ие должио быть».

Громкое всхрапываиие, просиулся отец. Анди иемножко испугался. Отец потирает себе лоб.

— Аиди, — говорит ои.

Анди спокойио смотрит на иего. Соломеиные волосы взъерошеиы и влажиы, под глазами красиые круги.

— Как дела? — спрашивает отец.

— Хорошо, — отвечает Анди, — что мие сделается? — И при этом чувствует, как пересыхает горло, ио говорить ои еще может.

— Я ждал тебя, — говорит отец.

— Он уже почти умел говорить, — отвечает Анди. — Ои хорошо зиал меия. Как только я входил в комнату, ои сразу меия узиавал.

Отец молчит, да и что сказать, и Анди рад, что отец молчит. Ои бы ие смог выдержать, заревел бы Анди. Отворачивается: совсем близко застучал дятел.

Герхард Хольц-Баумерт

ЛАСТИК, ИЛИ КАК ВОЗНИКАЮТ ЛАВИНЫ

Говорят, иной раз в горах достаточно потревожить один камешек, чтобы вызвать мощную, сметающую на своем пути леса и деревни лавину. Я — житель равнины и не могу судить, насколько это верно. Но нечто подобное случается и в нашей повседневной жизни: например, самый обычный ластик может полностью разрушить представление об отце.

Таня-Элизабет искала ластик, сначала спокойно, потом все больше распаляясь и громко ругая сестру, хотя той не было дома. Ластик был нужен для исправления чертежа в тетради по математике. Чтоб ей было пусто, этой неряхе, ее сестре, наверняка взяла ластик и не положила на место.

Таня-Элизабет прошла в отцовский кабинет и выдвинула ящик письменного стола. Отец не желал, как он выражался, чтобы кто-либо, даже мать, эксплуатировала его рабочее место. Об уборке нечего было и думать, порядок там был плачевный: ведь даже пыль отец стирал собственноручно. Таня-Элизабет старалась не нарушать отцовского запрета. Но сейчас ластик был нужен до зарезу, потом она положит его на место, справа от серебряной скорлупки, сотрет чертеж и сразу положит обратно. А если говорить откровенно, заодно ей хотелось порыться в столе. Полюбоваться фломастерами, пересмотреть лекарства, подышать запахом, исходящим от пачки туго перевязанных писем, полистать скоросшиватель с гарантийными талонами и квитанциями, развинтить старую поломанную авторучку, с которой отец никак не мог расстаться и хранил долгие годы, потому что ею написал свою докторскую диссертацию, да, не придавая тому

особого зиачения, оиа время от временн любила порыться в ящике. Но только тогда, когда у нее, как сегодня, были самые серьезные причины.

Она нашла ластик на обычном месте, попробовала, как он стирает, покачала головой, рассматрнвая старую авторучку и хотела уйти, но заметила в самом углу белую папку, которой раиьше там не было. Таня-Элнзабет осторожно вытащила и раскрыла ее. В ней лежали почтовая открытка, прнсланная ее отцу каким-то Виллн, пожелтевшая, с почти неразличимым текстом, театральная программка, тоже пожелтевшая н совсем ветхая: Немецкий Театр — «Натан Мудрый». И какой-то табель.

Таня-Элизабет устроилась на жестком отцовском стуле н приступнла к чтеиию. Уже беглый просмотр табеля привел ее в замешательство. Не может быть! Оиа покачала головой: сплошиые тройкн, да и четверок полно. В дверь позвоиилн...

Быстро, ио очень аккуратио оиа положила табель на прежнее место и пошла открывать. В дверях стояла ее младшая сестра Қармен- Иреи.

— Ну н нспугала ты меня...

Қармен-Ирен, в который раз забывшая свой ключ, вскинула голову:

— Что значнт испугала? Ты что-то затеяла? Признавайся, чем занимаешься, хитрюга!

И Таня-Элнзабет прнзналась: все равно Қармен-Ирен не оставнт ее в покое, пока все ие выведает, не зря мать называла младшую дочь сверлом. Таня-Элизабет потащила младшую сестру, даже не успевшую снять пальто, в комнату отца. Қармеи-Ирен только тнхо свистнула.

— Ну и смелая ты, детка...

Но когда оиа наклоннлась над табелем, она иичего не сказала, а только стала громче иасвистывать, и Таня-Элнзабет заметнла:

— Қончай... Рассвнстелась. — Қак будто ее свист мог их как-то выдать.

А Кармен-Ирен уже занималась подсчетом.

— Обалдеть. Средний балл три тридцать шесть.

Она хлопнула сестру по плечу.

— Старуха, 3,36... — Она стала серьезной. — А это, действительно, папин табель?

И Таня-Элизабет вновь пришлось убедиться в том, что табель, без сомнения, принадлежит известному Альберту Бургеру, их отцу.

— А ученику с таким позорным табелем тогда было... четырнадцать лет, в точности как моей сестричке.

Таня-Элизабет долго считала и пришла к точно такому же результату. Тем временем сестра отыскала в начале табеля характеристику: Альберт — невнимательный, рассеянный ученик, его успехи далеко не соответствуют возможностям, в последнее время он проявляет некоторую строптивость. Ему следует подтянуться, чтобы успешно закончить учебный год.

Кармен-Ирен громко и выразительно прочла характеристику, повторила еще громче и, покатываясь со смеху, выкрикнула:

— Потрясно!

У Тани-Элизабет была другая точка зрения: отец без конца придирается к их отметкам, а ведь их отметки не в пример лучше; как часто он выходит из себя из-за двоек и ядовитым тоном спрашивает: «Ну а почему не единица?» Зажав в руке табель, Таня-Элизабет потянула сестру из комнаты. Сестры переписали его, и Таня-Элизабет отнесла табель на место, взяла ластик, стерла чертеж в тетради по математике и ни слова не ответила на насмешливые вопросы сестры. Кармен-Ирен оставила ее в покое, она знала: если сестра так прилежно склонилась над тетрадями, то оторвать ее от них невозможно. Едва Таня-Элизабет закрыла тетрадь, Кармен-Ирен с ужимками многоопытной актрисы начала декламировать характеристику. Дойдя до слов: «...в последнее время он проявляет некоторую строптивость», она, хохоча и дрыгая ногами, бросилась на кровать. Ее смех

был заразителен как корь. Не удержавшись, расхохоталась и задрыгала ногами ее серьезная сестра. Они даже не услышали, как вошла мать. Она рассердилась — дочерн дурачатся вместо того, чтобы делать уроки, а на столе с утра стоит иемытая посуда.

Кармен-Иреи вызвалась вытереть посуду, хотя обычно занималась этим очеиь иеохотно; ей хотелось остаться с сестрой, хихикая, оии шептались о табеле, и Кармеи-Ирен приглушенным голосом повторяла характеристику, которую зиала уже наизусть. Мать прогнала их из кухни.

— Лучше вымыть посуду самой, чем слушать вашу глупую болтовню, — раздражеиио сказала оиа.

Таия-Элизабет заметила, что сестра вот-вот проболтается, и только ее усилеиое подмаргиваиие и высоко поднятые брови заставили сестру сдержаться.

Девочки ни о чем, кроме табеля, не могли говорить. По мнению Кармен-Ирен, пользу из их открытия следовало извлечь.

— Чего иам одним смеяться над скверным табелем сквериого ученика Альберта?

Оиа прыснула в подушку, потому что ей понравилось выражение «скверный ученик Альберт», сказаниое о родном отце, докторе Бургере, директоре института.

Таня-Элизабет ие сразу поняла, что у сестры на уме.

— Давай перепишем табель еще раз и пошлем в «Нойес Дойчланд», чтоб там иапечатали, или к нему в институт для стеигазеты. — И она повторнла: «...должен как следует подтянуться...»

Таня-Элизабет, напротив, была склоииа действовать в кругу семьи. Возбужденная планами сестры, она предложила во время ужина неожиданно извлечь копию табеля из кармана и громко прочесть. Или наизусть. Ведь Кармен-Ирен уже знала табель назубок!

Сестра считала, что розыгрыш иадо устроить за завтраком. Вечером отец не всегда возвращается вовремя, и лучше, если прочтет Таия-Элизабет.

— Почему это я?

— Лучше прочитать. Если я скажу наизусть, он может все оспорить, да и мама не поверит. А если мы прочтем, то получится вроде как в документальном фильме, понятно, старуха! — И рассудительная Таня-Элизабет признала ее правоту.

— Но почему за завтраком?

— Потому что вечером он часто возвращается очень поздно и у него позади тяжелый день. Утром он еще свежий, и удар наверняка будет чувствительнее, к тому же по утрам он как раз задает свои любимые вопросы: «Ну, что вчера было в школе? Как отметки?» По утрам он всегда читает нам проповеди и портит аппетит. Нет-нет, именно за завтраком мы и преподнесем ему эту штучку, может, хоть кофе покажется ему невкусным.

Кармен-Ирен была права, вечером семью не собрать, а утром хоть ненадолго, хоть на полчаса все были вместе. Отец любил завтракать основательно. Жареная картошка, яйца, ветчина доставляли матери и Тане-Элизабет, у которых по утрам никогда не было аппетита, буквально физические мучения. Отец в превосходном настроении жевал, поглядывал на сидящих за столом и спрашивал с легкой иронией:

— Разве дамам что-то не по вкусу?

Мама и Таня-Элизабет пытались оживленно кивать и быстрее есть, зная, что иначе он начнет лекцию о пользе завтрака для здоровья в целом, потом перейдет к целенаправленному закаливанию организма и недостаточному вниманию к политической литературе в семье, а напоследок пойдут вопросы о школе, домашнем задании и отметках и рассуждения об отсутствии здорового честолюбия и успехов. Он говорил и не переставал есть и пить. По счастью, младшая дочь унаследовала его привычки и, пока отец говорил, с наслаждением уписывала хрустящие булочки, яйцо, косясь взглядом на сестру: не перепадет ли чего и от нее. Аппетит Кармен-Ирен частенько был для отца отправной точкой в его «пропо-

ведях», как иной раз во всеуслышание или иной раз про себя называла их мать.

Таня-Элизабет должна была признать правоту сестры, процитированный именно за завтраком табель произведет большее впечатление. Но ей не хотелось читать его, ведь это значило вызвать бурю на свою голову. Отец непременно спросит: откуда у тебя табель? И когда выяснится — из письменного стола, — он, работая челюстями, наверняка начнет распространяться о честности, тайных проступках, надежности и доверии, пока за этими разговорами табель не будет забыт окончательно. Они решили начать одновременно и читать в два голоса. А как только отец раскроет рот, Кармен-Ирен, острая на язык, сразу должна вмешаться. Так общими силами и при взаимной поддержке они хотели взять реванш.

— Пока он совсем не скиснет. Ни словечка не сможет проронить. Будет сидеть и молчать...

— Ни пить, ни есть не сможет. Хотела бы я видеть, как он дар речи потеряет и жевать перестанет.

Пораженная этой мыслью, Таня-Элизабет поверила, что именно так и произойдет, а для их семьи такое событие было бы просто потрясающим.

Кармен-Ирен была права. Отец вернулся домой поздно, когда он пришел, они уже давно спали. В тот вечер их бы ждала неудача, возможно, не отец, а они потерпели бы поражение. А так они могли еще представлять себе сенсационное разоблачение и хихикать, когда Кармен-Ирен в полусне повторяла: «... его успехи далеко не соответствуют способностям...»

Мать озадачила возбужденность дочерей и необъяснимая веселость. Поздно вечером у телевизора, когда отец, зевая, ругал программу «Звезды мировой эстрады», мать оторвалась от штопки и сказала:

— Сегодня девчонки вели себя так странно. Прямо с ума сходили. После обеда и весь вечер.

— Ну и что, — ответил отец, зевая, — одной тринадцать, другой — четырнадцать. Переходный возраст.

Бывает, что иормальиый человек, как ты, как я, ие видит ничего смешиого, а у глупышек вроде наших девчоиок вдруг появляется повод гоготать без передышки. С психологической точки зрения проблема ясна.

Мать рассеяиио кивнула и опять занялась колготками Кармен-Ирен.

На следующий деиь мать работала в утреннюю смеиу. И, как всегда, такое утро было суматошным. Сегодия оиа тоже подияла девочек на пятиадцать мииут раиьше, чем иужио. Кармен-Иреи начала было иыть, ио, вспомиив о иамереиии преподнести папочке его же табелечек, вскочила и затеяла с Таией-Элизабет щеиячью возию, как в сердцах выразилась мать.

Таия-Элизабет спала плохо, утром ей казалось, что всю иочь ей сиилась какая-то бессмыслица, ио вспомнить иичего не могла. Младшая сестра ие угомонилась даже в ваиие, она хохотала, пока мать ие постучала в дверь. Девочки услышали, как, насвистывая, отец твердым шагом идет топить печь.

— Ои еще у иас потрепыхается, — прошептала Кармеи-Иреи. Расстроеииая Таия-Элизабет разглядывала в зеркале свою отекшую физиономию. Она чуть не забыла спрятать бумажку, когда мать позвала их завтракать, но Кармен-Иреи иапомиила ей.

— Вчера валяли дурака, сегодия опять, когда вы только поумнеете.

Отец положил руку иа руку матери:

— Переходиый возраст, ты же знаешь.

Возможио, все пошло бы ииаче, если бы отец начал придираться к аппетиту жеиы и, следовательно, завел обычную лекцию о политике, спорте и школе. Но отец с аппетитом ел, склоиив голову, прослушал новости и очеиь кратко обругал программу «Семья Фиидиг в эфире»: «Уж слишком они правильиые». Мать молча кивиула.

Кармеи-Иреи теребила в кармаие кофты лист бумаги и одними губами выговаривала слова, поиять которые

могла только сестра: рассеянный ученик... его успеваемость, некоторая строптивость. Таня-Элизабет незаметно отрицательно покачивала головой, и Кармен-Ирен вопросительно пожимала плечами. Когда? Ну хоть бы отец сейчас что-нибудь сказал или спросил! Кармен-Ирен все порывалась начать, но сестра то наступала ей на ногу, то качала головой и бросала на нее выразительные взгляды, заставляя молчать. Мать заметила их беспокойство, но ничего не сказала, чтобы не провоцировать «проповедь» мужа. Кармен-Ирен злилась все больше, но одна не решалась вытащить из кармана листок со словами: «Альберт...» Выйдя из дома, сестры отвернулись друг от друга и в школу пошли порознь.

— Уродка... Брехло... Трусиха! — крикнула Кармен-Ирен вслед сестре. Таня-Элизабет отрицательно покачала головой. Нет, неправда, это не трусость. Что же тогда? Она и сама не знала, но решение и не упоминать о табеле созрело ночью.

Она не могла объяснить случившегося, и это не давало ей покоя на уроках, за свою невнимательность она получила несколько замечаний.

Она думала о своем отце. Она никак не могла представить, что когда-то он был мальчиком, маленьким Альбертом, хотя умом понимала все и видела его детские фотографии. А то, что он рассказывал о войне, о нужде, о своем тяжелом детстве, о голоде и упорных занятиях холодными зимами, когда в комнате замерзали чернила, казалось ей легендой, вымыслом, отчасти придуманной, отчасти увлекательной и страшной историей.

Чудно, но из-за плохого табеля они увидели отца совсем в ином свете. Он был ленивым, рассеянным и строптивым — значит, он и вправду был таким, как многие другие, как мальчишки ее класса.

Таня-Элизабет рассматривала мальчиков с таким вниманием, что некоторые заметили это и стали корчить ей рожи. Но он преодолел все трудности, этот Альберт, ее отец! Значит, и вправду он учился на слесаря,

о чем не раз рассказывал, положив перед собой руки, гладкие и белые. Значит, он учился и на рабфаке, заставляя себя заниматься, хотя в комнате замерзали чернила. Никто не предсказывал ему в школе, что когда-нибудь он станет доктором философии.

Таня-Элизабет всегда верила тому, что он рассказывал, но скорее так, как верят хорошо написанному произведению, оно правдиво, однако ты все-таки знаешь, что это всего-навсего прекрасный вымысел. Но то, что в отцовской жизни правдой было все, она поняла только из-за табеля во время своих ночных раздумий, которые на всех шести уроках по крупицам восстанавливала в памяти.

— Таня... Таня, должна заметить, вы явно отключились от урока, переведите, пожалуйста, следующий абзац.

Она даже не знала, где они сейчас читают, и получила четверку. Обычно такая старательная, а подчас прилежная даже сверх меры ученица, Таня-Элизабет глазом не моргнула, услышав об этом.

Значит, и она человек стоящий! Значит, и у нее есть будущее. Она будет, так она для себя решила, все-все рассказывать своим детям, и про эту четверку, которая может испортить ей оценку по русскому языку, тоже. Своим детям? Она представила себя в окружении троих детей, в суперэлегантном кожаном пальто...

— Таня... Таня! Опять вы не отвечаете. Но улыбка у вас до того умная, что кажется, вас осенило вдохновение.

Класс засмеялся над шуткой учителя. Случись это в другое время, Таня-Элизабет расплакалась бы тихонько, сцепив лежащие на столе руки. Сегодня же она сидела совершенно спокойно, невозмутимо кивала головой и думала: подождите, подождите, может, я тоже стану очень интересным человеком, попозже, годика через два!

Одно не давало ей покоя — как уговорить сестру. Словами ее не убедишь; малышка не могла обдумать

последствия, которые вызовет разговор о табеле. Она не видела дальше собственного носа, эта глупая Кармен-Ирен.

Таня-Элизабет решила забрать у нее бумагу, а не отдаст по доброй воле, отобрать силой. Задача непростая, несколько дней они не станут разговаривать, а мать ничего не поймет и почувствует себя несчастной. Иногда, не всегда, Таня-Элизабет бывала непреклонной и могла это доказать на деле.

Она скажет, когда бумага будет разорвана: «Если ты хоть словом проболтаешься... я тебя отлуплю... я разорву у тебя все фотографии артистов. Речь идет о чести отца!»

Сестра высунет язык, закричит: «Дура, балда. Как от такой ерунды может зависеть честь, ты, ослиха...» Но она поймет — Таня-Элизабет не шутит, в конце концов сестра угомонится и смирится, но от злости долго не будет разговаривать. Бедная сестренка, подумала Таня-Элизабет жалостливо, по-матерински, но непреклонно. И снова задумалась над тем, почему отец не рассказывал о табеле, почему никогда не показывал его.

Говорят, иной раз в горах достаточно потревожить один камешек, и могучие леса и целые деревни исчезнут под все сметающей на своем пути лавиной. Я — житель равнины и не могу судить, насколько это верно. Но пустяковый серенький ластик может многое. С того дня, когда дочь искала ластик, а нашла некий табель, Альберт Бургер уже не был тем, чем был раньше. Или, напротив, иной стала Таня-Элизабет? Я думаю, новые черты характера дадут знать о себе, но отцу и матери, а в особенности младшей сестре, понадобится время, чтобы понять, что в поисках ластика — в отцовском столе, без разрешения, — она потревожила именно тот камешек, который вызвал лавину. Ведь подчас лавины обрушиваются и на души людей.

Клаус Буркэ

ТРИ ЯГОДЫ ШИПОВНИКА

Прямая, как стрела, магистраль рассекала новый город. По обе ее стороны вытянулись кварталы одинаковых светлых домов — взгляд скользит по ним, ни на чем не задерживаясь.

Живой, пульсирующей артерией соединяет магистраль новый город со старым.

Между двумя бетонными полосами — широкий газон, на котором рядами посажен кустарник.

В строгом ряду аккуратных кустиков барбариса возвышается одинокий куст шиповника, или, как его еще называют, дикой розы.

Несколько лет назад какой-то мальчик, возвращаясь с родителями после загородной прогулки, бросил из окна машины спелую ягоду шиповника — так он здесь и вырос.

Пришло время, и шиповник зацвел в первый раз.

Однажды, в теплый октябрьский вечер, когда уже схлынул поток автомобилей, в которых люди возвращались с работы, из куста появилась обитавшая в нем фея.

— Ах! — сказала она. — Сегодня я хотела бы совершить что-нибудь такое, о чем можно было бы вспоминать долгими зимними вечерами и мечтать.

Вот только что бы такое совершить?

Мимо промчался автобус. Вихрь взметнул листья, ягоды шиповника затанцевали. Фея невольно ухватилась за ветви.

Тут-то ее и осенило.

Она сорвала три ягоды шиповника, сросшихся черенками, и трижды дохнула на них.

Прозрачной мерцающей дымкой фея поднялась над

кустом, пересекла шоссе и полетела вдоль магистрали. Потом она свернула в небольшую тихую улочку, проплыла мимо поликлиники, детского сада и остановилась перед высоким, облицованным голубым кафелем одиннадцатиэтажным домом.

Фея положила ягоды шиповника на тротуар, а сама притаилась в узком палисаднике за кустом можжевельника.

И стала ждать.

Первой прошла женщина, сгибаясь под тяжестью двух хозяйственных сумок, — ягод она не заметила.

Вперевалку проплелся упитанный молодой человек со скучающим взором — он чуть не раздавил ягоды.

Трое мальчишек пробежали мимо, один строчил из игрушечного автомата.

Размахивая полупустым полиэтиленовым пакетом, прошла молоденькая девушка.

Но что-то заставило ее остановиться: ей показалось, будто она увидела что-то необычное. Девушка вернулась и присела, чтобы получше рассмотреть ягоды шиповника. Потом подняла их с асфальта.

Фея радостно улыбнулась. Прекрасно! Вот и будет о чем помечтать зимними вечерами. И она, довольная, вернулась в свой куст шиповника.

А девушка поднялась и пошла дальше. Но что за чудесные ягоды были у нее в руке! Они словно согревали ладонь, и как странно, как ново стало все вокруг: и сверкающие окна домов, и фонари у подъездов, и черный дрозд, который проворно ворошил желтым носом опавшие листья, выискивая что-то под ними. Все стало как-то ярче и ближе. Так, во всяком случае, ей казалось.

Дома ее мать, склонившись над тазом, стирала белье. Взглянув на дочь, она удивленно спросила:

— Франциска, что это с тобой?

Мать редко называла ее Франциска, обычно — просто Гика.

У матери никогда не хватало на дочь времени, и им почти не о чем стало разговаривать.

Но сейчас Гика подошла и прильнула к ней.

Однако, словно застеснявшись, быстро проговорила:

— Со мной? Ничего!

И скрылась в своей комнате, упала там ничком на кровать. Гика считала мать виновной в том, что ей пришлось расти без отца. Однажды мать рассказала: она вышла замуж не по любви, может быть, в надежде на любовь.

Гика не поняла. Как могла мать в таком случае вообще выйти замуж, да еще родить ребенка?

И тогда мать спросила: а может ли Гика себе представить, что ее не было бы на свете, что она не жила бы...

Этого Гика представить себе не могла.

О своем отце она знала только, что он живет в другом городе, снова женат, и что он аккуратно выплачивает алименты.

Уж она-то непременно выйдет замуж по любви и за такого человека, который полюбит ее!

И к ней не будут, как к матери, приходить по вечерам мужчины, нести всякий вздор и потом опять уходить.

Когда мать позвала ее ужинать, Гика вытерла слезы, потому что в пятнадцать лет плакать уже стыдно. Она положила ягоды шиповника в деревянную шкатулку, где хранились ее «драгоценности»: серебряный браслет, янтарные бусы, два медальона и старые сломанные часики.

Они ужинали молча, лишь изредка перекидываясь словом. Мать еще должна была идти дежурить в ночную смену. Она работала оператором на химическом заводе. На другой день все вокруг опять выглядело необычно: и дома, и утреннее небо; будто впервые Гика видела и маму, и ребят в классе.

Но самое главное — во время урока ее так и тянуло взглянуть на Дирка, сидящего в другом ряду. Он давно ей нравился, но сегодня, встретившись с ним взглядом, она опускала глаза и краснела.

Дирк держался скромно; его мягкие каштановые волосы красиво вились, и он знал, что на него приятно взглянуть.

На перемене он подошел к Гике и попросил карандаш. После уроков он вертелся в коридоре около нее. Но Гика ходила домой с подругой из соседнего подъезда. А сегодня она чуть не пожалела о том, что дружит с ней. Через несколько дней она увидела Дирка, поджидавшего их у дверей школы.

— Мне сегодня с вами по пути, — сказал он. И проводил Гику и ее подругу до дома.

И на следующее утро он зашел за Гикой.

Теперь они, уже не стесняясь, подходили друг к другу на переменах, разговаривали и дурачились. Потом стали встречаться и после занятий.

Они убегали из скопища домов, среди которых чувствовали себя слишком маленькими и незначительными. Они бродили полевыми тропами, лугами, спускались к воде канала или уезжали на автобусе в старый город, толкались там по оживленным торговым улицам, а если у них были деньги, заходили в кино или в кафе.

Мать недоверчиво наблюдала за Гикой. Она поручала ей теперь больше дел. В восемь вечера Гика должна была возвращаться домой.

Как-то зимой, собираясь на свидание с Дирком, Гика вспомнила вдруг о ягодах шиповника. Она подошла к шкатулке, достала оттуда одну ягоду.

И когда они рука об руку спускались по заиндевевшему лугу к каналу, Гика вдруг остановилась. Она протянула обе руки к Дирку, на ладони краснела ягода шиповника — ее сердце.

Невыносимо долго Дирк стоял неподвижно, потом осторожно взял ягоду, положил руки Гике на плечи,

потянулся к ней и поцеловал ее — их зубы неловко стукнулись, он отпрянул. А Гика вся затрепетала, ощутив, как по телу пробежал легкий озноб, будто перед ней распахнулись ворота чудесного, неведомого сада.

Дирк сосредоточенно шагал рядом. Он сказал серьезно:

— Я буду носить ее на груди.

На другой день он, действительно, проколол ягоду и повесил ее на тонком шнурке на шею. И носил ее, не снимая.

Гика и Дирк скоро окончили школу. Позади остались экзаменационные страхи и волнение.

Минуло лето. Они поступили работать. Гика — ученицей помощника библиотекаря, Дирк — учеником повара в лучшем ресторане нового города. Но как только у них выдавалось свободное время, они встречались.

Конечно, случалось иногда, что один был в чем-то не согласен с другим, они даже спорили, но это проходило быстро, как летний дождик.

Свой первый отпуск они решили провести в Польше, пройти пешком всю страну с юга на север.

Гика чуть ли не полгода упрашивала мать отпустить ее.

Они прошли путь от Высоких Татр до самого Балтийского моря, ночевали в кемпингах, а так как денег у них было не слишком много, они частенько обходились хлебом и яблоками. Это было восхитительное, полное приключений путешествие.

И что Гику поразило: даже в самой отдаленной деревушке люди относятся к себе и своим проблемам так, словно они находятся в центре мироздания. А ведь до сих пор Гика жила в своем городе точно с тем же чувством.

В один из вечеров, когда Гика и Дирк уже вернулись из отпуска, они решили пойти потанцевать. С ними пошла и подруга Гики. Она недавно рассталась со своим другом, который начал встречаться с другой де-

вушкой. Они не пропустили ни одного танца: Дирк танцевал с Гикой, а иногда и с ее подругой.

Во время перерыва между танцами девушки остались за столиком одни, и подруга начала ругать парней:

— У всех у них одно на уме.

— Мой Дирк не такой!

Подруга лишь усмехнулась. Они чуть было не повздорили.

И тогда подруга предложила:

— Спорим, твой Дирк поцелует меня сегодня же вечером, если ты оставишь нас вдвоем.

Гика лишь рассмеялась в ответ. Но потом все же решилась. Дирк подошел к ним, Гика протанцевала еще два танца, но как-то вяло.

— У тебя что, стоп-сигнал сработал? — пошутил Дирк.

— Мне как-то нехорошо. Я пойду домой.

Дирк хотел проводить ее, но Гика отказалась. Она пойдет одна, не так уж ей плохо, до дома ведь недалеко. Дирку лучше остаться с ее подругой, той нужно немного развлечься.

Но Дирк этого не хотел, Гика все же настояла на своем. Дирк принес из гардероба куртку и проводил ее немного. Гика сделала вид, будто идет домой. Но потом вернулась и спряталась за угол.

Прошло немного времени, из клуба вышли Дирк и подруга. Они оживленно болтали, смеялись; вдруг Дирк обнял подругу и поцеловал ее, крепко прижимая к себе.

Гика чуть не умерла от отчаяния.

Но ей все же удалось взять себя в руки, и она подошла к ним.

— Вот видишь! — воскликнула подруга, вырвавшись из объятий Дирка.

Гика не могла ни смотреть на Дирка, ни говорить с ним. Подруга подхватила ее под руку, и они ушли.

Вечерами Гика теперь сидела дома. Она много чи-

тала: притаскивала домой из библиотеки кучу книг. Помогала матери по дому.

Прошло время, она вновь познакомилась с юношей. Потом с другим. Но одно она знала наверняка: ни то, ни другое знакомство не станет чем-то серьезным.

Она не желала отказываться от своей мечты: когда-нибудь жить с тем, кого она полюбит.

Время ученичества закончилось. Как-то вместе с подругой по работе она поехала в отпуск на Балтику и встретила в кемпинге неуклюжего добродушного парня. Он понравился ей. Звали его Петер. Он тоже только что закончил учебу, стал технологом.

Петер жил в другом городе, и они часто писали друг другу. Время от времени встречались. Матери Гики он тоже нравился.

Гуляя по городу, они разглядывали выставленную в витринах мебель: гарнитуры жилых комнат, спальни и кухни — ведь они хотели пожениться.

В одну из пятниц, вечером, когда Гика, как всегда, собиралась к Петеру, она вспомнила вдруг о ягодах шиповника, которые все еще лежали в шкатулке. Что сделает Петер, когда она протянет ему ягоду?

Она не была уверена, надо ли это делать, и все же вернулась и взяла одну ягоду.

Ей не удалось подарить Петеру шиповник в тот же вечер, потому что они были не одни: Петер собрал друзей, они до поздней ночи сидели в комнате, которую он снимал, болтали, слушали магнитофон, пили пиво, похрустывали солеными хлебными палочками.

Но на следующий день, когда Гика с Петером гуляли по городу, она открыла сумочку, достала шиповник и протянула Петеру.

— Что это? — спросил он, беря крупную, словно вишня, ягоду. — Алая, как твои губы, — восхитился он и поцеловал шиповник. И смутился, не зная, куда его деть.

Они пошли дальше, заговорили о другом.

«А чего, собственно, ты ожидала?» — злилась на себя Гика. Но когда они подошли к мосту, Петер остановился:

— Давай бросим ягоду в воду?

«Этого только не хватало!» — подумала Гика, но промолчала.

— Течение подхватит ее и отнесет далеко-далеко, и где-нибудь, ты можешь сама придумать, где, ее прибьет к берегу, и там вырастет куст шиповника и будет цвести...

Петер был в восторге от своей идеи. Гике это тоже начало нравиться.

— Бросай!

— Считай!

Гика сосчитала до трех, и он бросил ягоду в воду. Обняв друг друга, они смотрели, как ягода попала в водоворот, завертелась, ее подхватило течением, и она вскоре исчезла из виду. А они пошли дальше, тесно прижавшись друг к другу.

Гика и Петер встречались уже полгода, когда Гика почувствовала, что у нее будет ребенок. Петер обрадовался, узнав об этом. Они назначили день свадьбы.

Но однажды им не удалось встретиться, как обычно, в выходной. Петер хотел до свадьбы оклеить обоями квартиру родителей, которые жили в другом городе, а в следующий выходной он просидел над срочной работой.

Прошел почти месяц, а они так ни разу и не увиделись. Гику охватили тревожные предчувствия. Отговорки Петера в письмах звучали так неубедительно. Как-то среди недели сразу же после работы она поехала к нему. Петер встретил ее приветливо, обнял ее, начал извиняться. Он приготовил чай и пододвинул кресло, чтобы ей было удобно.

Но, когда она наконец спросила, в чем все-таки дело, он начал ходить вокруг да около. Да, она ему нравится, и он хочет на ней жениться, но пусть она поймет

его правильно — не сейчас. Он еще молод и не хочет быть с кем-то связанным окончательно. Кроме того, сейчас у него есть потрясающий, единственный шанс очень дешево купить подержанную машину в отличном состоянии. А если у него будет машина, он сможет часто приезжать к ней. И они будут ездить куда захотят, все втроем. Петер был помешан на автомобилях.

Гика съежилась в кресле, не зная, куда девать свой большой живот. Она готова была разрыдаться. Но когда Петер, желая ее утешить, протянул руку, она гневно оттолкнула его.

— Ты хорошо все обдумал? — спросила она твердо, хотя чувствовала себя совсем разбитой и беспомощной. Когда она встала и пошла к двери, она еще надеялась, что Петер удержит ее.

В ту же ночь Гика уехала домой. И стала ждать Петера. Не может же он оставить ее и ребенка одних!

Она боролась с желанием снова поехать к нему.

Но получила от него прощальное письмо.

Шиповник, шиповник, куда тебя занесло?

Она родила ребенка, мальчика, и не было никого, кто бы ее навестил в больнице.

Выйдя из роддома, Гика жила сначала у матери. Потом ей дали в новом городе небольшую уютную квартирку с ванной и центральным отоплением. Она работала в библиотеке, каждое утро относила мальчика в ясли. Она радовалась, видя, как он начал ползать, ходить, говорить.

Внешне ее дни были заполнены: мать, подруги, знакомые навещали ее. Но было немало и таких часов, когда она чувствовала себя страшно одинокой, и тогда ее мучила мысль, что вот теперь она живет так же, как раньше ее мать, а ведь она ни за что, ни за что не хотела жить так.

Эти мысли приводили ее в отчаяние. Потом Гика поступила в заочный институт. Мальчик подрастал, он уже ходил в детский сад. Однажды ее попросили рас-

сказать о новой книге на одном предприятии. Она тщательно подготовилась.

И вот она сидит перед водителями автобусов и такси. Гика коротко рассказала о книге и об авторе, прочла несколько отрывков, попыталась сделать выводы.

А потом ей стали задавать вопросы. Некоторые пытались блеснуть эрудицией, другие задавали вопросы по существу, иные сидели со скучающим видом. И лишь один спросил о том, над чем задумалась Гика, читая эту книгу. Тогда ответа на этот вопрос она не нашла и теперь чистосердечно призналась в этом.

Через несколько дней она увидела мужчину, задавшего ей этот вопрос, за рулем автобуса. Он приветливо помахал ей. И потом часто случалось так, что она попадала на его рейс. Несколько раз он видел ее с мальчиком.

Этот шофер иногда возил туристские группы в Польшу и Чехословакию.

Однажды он встал и, не обращая внимания на удивленные взгляды пассажиров, прошел к ней через весь салон. Он пригласил ее поехать с ним в Богемский лес.

— А сына можно взять? — спросила Гика.

— Конечно, — ответил он.

Так они познакомились поближе.

Потом этот мужчина пришел в гости. Гике приятно было смотреть, как он что-то мастерит, как играет с мальчиком. Он был разведен, на девять лет старше ее. Детей у него не было.

Свадьба была тихой, скромной.

Как-то уже через несколько месяцев они собирались поехать в старый город в театр. Сразу же после работы Гика отвела мальчика к бабушке. Дома, торопливо переодеваясь, она попросила мужа достать из шкатулки серебряный браслет.

Вернувшись, он протянул ей ягоду шиповника.

— Франциска, — спросил он — что это?

Гика, которая как раз причесывалась перед зеркалом, пожала плечами: «Девичьи глупости», — но краска залила ее лицо. Она вспомнила по-весеннему теплый октябрьский вечер и странное чувство, охватившее ее, когда она подняла с тротуара три ягоды шиповника; ведь о фее она и не подозревала.

— Ягода выглядит такой свежей, будто вчера сорвана, — удивился муж, — просто чудо какое-то. — И не расспрашивал больше.

Но спустя несколько дней, направляясь в палисадник перед домом, чтобы вскопать грядки, он захватил с собой эту «девичью глупость» и посадил ягоду шиповника в ласковую рыхлую землю.

Гика родила ему двоих детей. Ей было хорошо с ним.

Гюнтер Гёрлих

МАРТИН

За окном — изменчивый свет. Полная луна застыла на небе. То и дело на нее выползают облака, и тогда их края тускло серебрятся.

Мартин лежит в кровати, глядит на луну и плывущие облака. Говорят, в полнолуние снятся тревожные сны. Но не луна повинна в бессоннице Мартина. Он вспоминает прошедший день, думает о предстоящем — о воскресенье.

Все крепко спят. Кто-то чуть слышно бормочет. Должно быть, это толстяк Эдуард: он так наедается на ночь, что на него жалко смотреть. Потом его душат кошмары...

Какое тяжелое одеяло. Мартин сбрасывает его. Хорошо бы сейчас вскочить и пробежаться по комнате. Но он не хочет будить товарищей.

Мартину всего шестнадцать. Крепкие кулаки, ноги, без устали гоняющие кожаный мяч, — парень как парень. Да и сон его всегда был крепок и глубок.

Мартин осторожно встает с кровати. Потихоньку отворяет дверь. Она слегка скрипит, и Мартин успевает подумать, что вот Бенно, их председатель актива, уже миллион раз говорил, что дверь пора смазать. И господин Зеебург, наведываясь к ним в общежитие, не упускает случая с усмешкой заметить: «Хорошеньких я тут ращу специалистов. В автослесари они метят. Вот только дверь у них скрипит».

Осторожно идет Мартин по длинному коридору. Тихо ночью в большом общежитии. Зато днем оно полно криков, смеха, пения, ругани вперемешку с ревом транзисторов.

В пустом актовом зале Мартин забирается с ногами в одно из кресел у окна. Снова глядит на луну и облака. Сон не идет к нему; лоб под спутанными вихрами напряженно наморщен.

Ну и денек... Впрочем, поначалу он ни чем не отличался от всех прочих дней в училище. Натянув спецовки, они разбрелись по кабинетам. Сверкал алюминий, и запах машинного масла, бензина и дизеля перекрывал легкий запах металла. Здесь они разбирают и собирают двигатели.

В то утро Бенно, председатель актива, завел речь о футболе: в воскресенье вечером в городе одна из игр высшей лиги.

— Может смотаемся? — предложил он. — Хватит сиднем сидеть. Велосипед — залог здоровья.

Но неожиданная новость заставила их сразу забыть и о футболе, и о пользе велосипедной езды.

Собрав всех, секретарь ССНМ * объявил:

— Вы, конечно, знаете, что сборка мотороллеров на заводе поставлена теперь на конвейер. Это здорово. Но есть закавыка. Пока что с конвейера мы получаем не больше машин, чем при ручной сборке. Вот мы и подумали: а что, если вам завтра, в воскресенье, поработать смену на конвейере? Хочется поглядеть, что можно выжать из него при желании.

Секретаря зовут Губерт. Это верзила с костлявым лицом и вечно смеющимися бледно-голубыми глазами.

Сперва некоторое время было тихо. Потом шумно вздохнул Эдуард:

— Ну вот. А мама пирогов напекла.

Никто и не подумал смеяться.

Мартин стоял совсем рядом с секретарем. Он представил себе новенький блестящий мотороллер. Такой, о каком он тайно мечтает. Двухцветный, с четким обтекаемым контуром. Блестит алюминиевая отделка, и

* ССНМ — Союз свободной немецкой молодежи.

имя ему Мартин придумает непременно какое-нибудь сногсшибательное, скажем, «Старая кастрюля».

А потом Мартин подумал о своем брате Йорге. Ему уже двадцать — он на четыре года старше Мартина.

Йорг — здоровый отчаянный парень и завзятый мотоциклист. У него симпатичная подружка, и он гоняет на красной «Яве», из которой на шоссе запросто выжимает все сто пятнадцать.

Работает Йорг бригадиром на сборке мотороллеров. С деньгами у него всегда порядок, и он не прочь прихвастнуть, особенно перед Мартином.

Мартин очнулся от своих мыслей.

Бенно поправил очки:

— Итак, нам предстоит доказать, что конвейер может дать больше, чем дает до сих пор. Дело ясное.

— Да, — сказал Губерт. — Именно так. Зачем было строить поточную линию, если сменная выработка осталась прежней?

— Не очень-то они там обрадуются нашему появлению, — пробурчал Эдуард.

Бенно скрестил руки на груди.

— Новая техника — это более высокая производительность труда. Годами мы твердили это на уроках. Так сказать, теоретически. Теперь очередь за практикой.

Тут разом поднялся невообразимый шум.

Потом Губерт спросил: «Ну что, все идут?» И все согласились.

Мартин промолчал, но никто не обратил на это внимания. Этот конвейер весь день не выходил у него из головы. Вот скатываются с него разноцветные блестящие мотороллеры, а вот Йорг, его брат, всегда гордый тем, что с деньгами у него полный порядок, что у него уже есть «Ява», а скоро будет и телевизор...

Господин Злебург подробно обсудил с ними порядок работы на конвейере.

— Никакой спешки. Главное — ритм. — Он улыбался, как бы заранее радуясь предстоящей работе. Этой радостью он заразил ребят, да и Мартина тоже: ему захотелось немедленно бежать на завод, чтобы поглядеть, как в огромном цехе ползет лента конвейера.

И после обеда Мартин оставался все так же молчалив. Была суббота, и все, кроме него, отправились в город.

Вообще-то этот вечер Мартин собирался провести с Йоргом. Они хотели покататься на «Яве». Где-нибудь на пустынной дороге Йорг обещал поучить его водить. А потом... Может быть, Йорг все-таки одолжит ему денег на блестящий пестрый мотороллер. Они уже говорили об этом.

Но к Йоргу Мартин не пошел. Он бросился на кровать и взялся было за книгу. Тут до него донесся знакомый резкий свист. Мартин вскочил и подбежал к окну. Внизу на улице в черной кожаной куртке стоял Йорг. Мартовский ветер трепал его черные волосы. Сверкала красная «Ява».

Мартин распахнул окно.

— Эй, Мартин, ты что, заболел?

Мартин мотнул головой.

— Я сейчас! — крикнул он вниз навстречу порывистому ветру.

С тяжелым сердцем спускался он по лестнице.

Йорг глядел ему прямо в лицо. Мартин сразу же заметил крытые морщинки у него над переносицей.

— Привет, — буркнул Мартин.

Мрачно, не вынимая рук из карманов, Йорг сказал:

— Завтра несколько психов задумали перехватить наш заработок. Может, и ты тоже?

Мартин потрогал руль «Явы».

— Все пойдут. Ты же знаешь, — ответил он.

Йорг схватил его за руку.

— Не лезь! Это тебе не игрушки! — заорал он на Мартина.

Мартин засунул руку в карман брюк и поднял глаза на брата. Впервые в нем шевельнулся гнев.

— Чего ты хочешь? Актив идет. Что же, мне одному оставаться?

Йорг вскочил на сиденье. Мартин видел, как сузились его глаза и подрагивали уголки губ.

— Зачем оставаться? Послушно потопаешь за всем гуртом. Вы хоть соображаете, что затеяли? Конвейер они, видите ли, запустили. Экое нетерпение. Прямо так сразу и полные обороты. А у нас, между прочим, нет таких бедовых. Не то что вы — на лету хватаете. Все это бывшие домохозяйки, дворники и черт знает кто еще. Я-то почему из-за этого должен страдать? Хитрецы отыскались. А мне расплачиваться из собственного кармана?

Мартин беспомощно мямлил:

— Но это же совсем не так... Просто нам хочется, чтобы были мотороллеры... больше мотороллеров...

Йорг нажал на педаль стартера. Взвыл мотор.

— Подумай хорошенько! — прокричал он. — Слышишь, подумай! Или они, или я!

«Ява» рванулась с места.

Мартин проводил взглядом сгорбленную фигуру в кожаной куртке с развевающимися волосами. Всегда он без шлема. А носится как бешеный. Упрямец он, этот Йорг.

Мартин поднялся к себе в комнату. Настроение было подавленным. Не дойдя до двери, он остановился в нерешительности: может, правда, взять велосипед и махнуть за Йоргом. Он подкатит и скажет: «Ты прав, Йорг. Есть у нас такие. Все-то им невтерпеж». Но нет, Мартин вошел в комнату и бросился на постель.

Наклонившись к нему, Бенно озабоченно осведомился:

— Что случилось, старик? Не хватало еще, чтоб ты заболел.

Мартин покачал головой.

— Просто устал.

Постепенно все стихло, погас свет. Только с кровати Эдуарда слышалось шуршание бумаги. Он никак не мог расстаться с пирогами.

Мартин и не думал спать. Мысль, что человек может заболеть, вот так просто взять и заболеть, сверлила ему мозг. «До сих пор я всегда был, как все. Никто не подумает меня ни в чем упрекнуть». Какое жаркое, какое тяжелое одеяло. Потом он отправился в актовый зал...

Мартин съежился в кресле у окна. Все еще холодно в марте.

Луна скрылась. Скрылись и облака с серебристыми краями. Черная облачная пелена затянула небо. Мартин дрожа возвращается к себе в комнату и забирается под теплое одеяло. Усталость берет свое. Но сны ему снятся тревожные. То Йорг, хриплым голосом кричащий что-то наперекор ветру, то снова Бенно, с упреком и насмешливо глядящий на Мартина сквозь гигантские очки.

Смутные, тревожные сны снятся Мартину, а между тем полной луны давно уж как не бывало.

Грубый веселый голос кричит:

— Подъем, бездельники! Проспите все на свете! И они еще хотят что-то кому-то доказать!

Мартин чуть приподнимает веки. Посредине комнаты стоит Губерт. На нем мокрая от дождя штормовка. Как на посох, он опирается на спеленутое знамя. Мартин быстро зажмуривается.

В голове у него стучит, а тело будто налито свинцом. «Я болен», — мелькает мысль, и в этой мысли для Мартина заключено какое-то облегчение. Но он тут же понимает, что это неправда. Он почти не спал этой ночью — вот и вся причина.

Мартин продолжает совершенно неподвижно лежать с закрытыми глазами. Он слышит голоса товарищей, их смех и подтрунивание.

— Хоть бы в воскресенье дали выдрыхнуться! — жалуется Эдуард.

Бенно смеется:

— Шевелись, колобок! Тебе это только на пользу!

Скрипит и беспрестанно хлопает дверь. Потом все стихает. Значит, ребята уже в умывалке.

И вдруг его прошибает пот. «Почему они не стали будить меня? Как будто так и нужно. Или они знают про Йорга?» — Мартин уселся в постели. У стола сидит Бенно, зашивает комбинезон. Он неторопливо поднимает глаза. Мартину кажется, что в его взгляде — понимание и раздумье.

Одним прыжком Мартин вскакивает с постели. Выхватывает из шкафа полотенце.

— Чуть не проспал, — бурчит он.

— Сон — лучшее лекарство. Да, по такой погоде того и гляди подхватишь какую-нибудь гадость, — говорит Бенно.

При этом он смеется. Мартин недоверчиво смотрит на него, обматывает полотенце вокруг шеи:

— Теперь порядок.

По стеклам хлещет ливень. В умывалке Мартин вслед за всеми насвистывает песенку: «Я знаю, что тебя зовут Марина...» Он гонит мысль о брате Йорге.

Класс строится. Этого Губерт не предлагал.

Но Бенно заявил:

— Раз у нас знамя, значит, надо идти строем. Дело ясное.

Он же, Бенно, и несет голубое знамя. На резком ветру мокрая материя тяжело хлопает о древко.

Они поют хрипло и немного нестройно: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян».

Мартин поет, не спуская глаз со знамени, и думает о том, что чуть попозже надо будет выйти вперед и сменить Бенно...

Они подходят к цеху, и Мартин уже не поет. Перед

входом он видит сверкающую влажным боком красную «Яву».

Значит, Йорг здесь...

Голос секретаря парткома разносится по огромному цеху. Мартин слушает вполуха, прячась за широкой спиной Эдуарда. Неподалеку от них, в тени перегородки, он обнаруживает Йорга и с ним еще нескольких. Между ними протянулась лента нового конвейера. Он похож на длинный транспортер, только с обеих сторон стопами сложено множество отдельных деталей, которым через несколько часов предстоит стать вереницей мотороллеров. Об этом-то и ведет речь секретарь парткома. Он говорит, что их сегодняшний выход на работу — дело хорошее и полезное, образно выражаясь, прорыв и они должны приложить все силы.

Мартин незаметно поглядывает в сторону Йорга, на лице которого застыло холодное надменное выражение. Это выражение всегда так сердило маму, когда она еще была жива. Чаще всего оно предвещало вспышку ярости.

Повесив голову, Мартин вслед за господином Зеебургом подходит к своему участку. Ему досталось монтировать колеса.

Мартин боится оглянуться. Но общее возбуждение захватывает и его. Вот сейчас вспыхнет свет и конвейер придет в движение.

Вдруг Мартин почувствовал, что Йорг стоит у него за спиной.

Затем он слышит голос преподавателя: «Внимание!»

Вдоль линии вспыхивает свет.

В это мгновение Мартин забывает о своем брате Йорге. Как и все, он завороженно смотрит на ленту, на которую устанавливают каркас. Губерт и Эдуард навешивают мотор. Их движения немного суетливы и не совсем уверенны. На остальных участках пока еще делать нечего. Первый мотороллер, постепенно вырастая, приближается к участку Мартина.

Голосом, хриплым от волнения, Бенно говорит: «Еще минута-другая. Аж пальцы зудят...»

И тут за спиной Мартина раздается глухой стук. Вздрогнув, он оборачивается и видит, что стопа приготовленных для монтажа передних колес опрокинута.

За рухнувшей грудой — бледное лицо Йорга. Мартин понимает, что это дело рук брата.

— Вот елки-моталки! — сердится Бенно. — Даже сложить толком не умеют. Давай-ка в темпе.

Мартин идет к Бенно, который, не переставая ругаться, возится с колесами, и мимо него — к Йоргу.

Едва слышно он говорит:

— Зачем ты это сделал? Такой низости я от тебя не ожидал.

Застывший взгляд Йорга, его подрагивающие уголки губ уже не пугают Мартина.

Значит, Йоргу важно вовсе не то, что задета его честь. Вот оно как.

— Уходи отсюда! Не мешай нам работать, — говорит Мартин и стоит перед Йоргом до тех пор, пока тот тяжело не поворачивает к выходу. Мартину хочется догнать его, схватить за плечи, встряхнуть. У него такое чувство, что не Йорг, а он теперь старший.

Вместе с Бенно Мартин, сцепив зубы, собирает колеса.

Как раз в эту минуту к их участку подплывал первый мотороллер.

Стремительно вращаются стрелки часов на стене цеха.

Мартин уже ловко орудует на своем участке. Теперь можно пустить конвейер и в более быстром темпе.

Господин Зеебург останавливает часы. За конвейером выстроились в ряд разноцветные шикарные мотороллеры. Время от времени Мартин поднимает голову и поглядывает на них. «Вот тот, с черно-белым капотом, мог бы быть моим», — думает он. Горько расставаться с мечтой. Но еще горше мысль о Йорге.

После смены секретарь парткома сказал: «Оказывается, стоящее все-таки дело — конвейер. Многие из этих юрких машин скоро покатят по нашим дорогам. А отправили их в путь вы. Они — ваша работа. Поразмыслите об этом на досуге, это будет невредно».

Мартин уже не прячется за широкой спиной Эдуарда. Бросив взгляд на собранные ими за смену мотороллеры, он замечает возле них кожаную куртку брата Йорга. Медленно идет он вдоль ряда машин, останавливается, иногда даже приседает на корточки.

Мартина бросает в жар. «Ох и упрямец же ты, Йорг, — думает он. — Но парень ты неплохой. Смотри, смотри как следует. Это настоящая работа, не халтура, факт». Когда Йорг подходит ближе, Мартин видит, что в его лице нет уже ни высокомерия, ни холодности.

Строем возвращаются они в общежитие. Дождь перестал. В руках у Губерта — голубое знамя с восходящим солнцем. Оно полощется на мартовском ветру.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В каждой стране у читателей-подростков есть свои любимые писатели и любимые произведения. В советской литературе это книги Аркадия Гайдара и Валентина Катаева, Льва Кассиля и Вениамина Каверина, Николая Носова, Виталия Бианки и многих других широко известных и любимых авторов.

Есть такая классика и в Германской Демократической Республике. У ее истоков стоят антифашистские пролетарские писатели — такие, как Алекс Веддинг (1905—1966), Людвиг Ренн (1889—1979), Август Лазар (1887—1970), Лизелотта Вельскопф-Генрих (1901—1979), Лило Хардель (род. в 1914 г.), которые в своих произведениях, нередко написанных в очень занимательной форме, рассказывали о трудной жизни и борьбе революционеров, о жизни ребят в других странах, о пролетарском интернационализме, о великих вождях пролетариата — Марксе, Энгельсе, Ленине, Эрнсте Тельмане и Розе Люксембург. С этими книжками входило в жизнь первое послевоенное поколение мальчишек и девчонок ГДР, чье детство еще было опалено огнем войны, тяжкой виной лежавшей на совести многих отцов и дедов.

Но — строилась новая жизнь, восстанавливались руины, развивались новые, социалистические отношения. Детская и юношеская литература ГДР пополнялась новыми книгами, в которых находила отражение и послевоенная действительность, книгами Эрвина Штритматтера, Бенно Плудры, Франца Фюмана, Курта Давида, Фреда Родриана, Гюнтера Герлиха, Герхарда Хольтца-Баумерта и других. В шестидесятые годы становятся известными Иоахим Новотный и Альфред Вельм, Уве Кант и Хорст Безелер, Маргарете Нойман и Хорст Бастиан. Произведения многих из них переведены на русский язык и на языки народов СССР.

В сборник «Гитара или стетоскоп?» вошли произведения, созданные в ГДР в последние годы. Одиннадцать известных и совсем

еще молодых писателей рассказывают о сегодняшних проблемах юного поколения ГДР. Тех, кто живет в городе и в деревне, в столице или в небольшом окружном центре. Выбор профессии, порой непросто складывающиеся отношения со взрослыми, даже с родителями, благополучные и так называемые неблагополучные семьи. Ведь жизнь редко протекает совсем безмятежно...

Вот, например, у Эдгара в одноименном рассказе умер любимый дедушка, и мальчик долго примеряет все по одной мерке: а что сказал бы сейчас дедушка, а что бы он в этом случае сделал? Любовь и душевное тепло окружающих помогают мальчику постепенно преодолеть горе, но эти переживания не пройдут для маленького человечка бесследно: они воспитают в нем чуткость к близким, к окружающим людям, научат ценить человеческую доброту, понимать, что в жизни бывают порой и невосполнимые потери.

В рассказе «Умер волнистый попугайчик» горе ребенка связано не только с погибшей по недосмотру (или равнодушию) птицей — в этой ситуации резче проступают взаимоотношения в семье, где не все так просто, и горе мальчика — отражение неблагополучия в мире взрослых, в семье. Такие рассказы, как «Умер волнистый попугайчик» Бенно Плудры или «Мозес-задавака» Ганса Вебера, интересны не только детям и подросткам, они в не меньшей степени интересны и нужны взрослым, которые порой не в состоянии понять горестей и проблем собственных детей.

Я начал с грустных сюжетов. Но в этой книжке, разумеется, много и просто веселых, наивных, забавных случаев. Один из таких забавных эпизодов детства великолепно изобразил Уве Кант в рассказе «Альфред-соня» — именно такие эпизоды и заставляют позднее вспомнить о детстве как о счастливой и незабываемой поре жизни... Талантливый веселый рассказ Петера Брока «Почему мне пришлось променять Тео на папу», о взаимоотношениях учеников и учениц выпускных классов, пожалуй, как никакой другой убедительно показывает, насколько проще разрешаются сложные возрастные проблемы, когда ребенок растет в дружной трудовой семье, где чуткость и внимание друг к другу проявляют не только в дни рождения.

Многие писатели рассматривают подростковые проблемы в ши-

роком контексте современной социальной действительности ГДР. Таковы повести Руди Бенцина «Гитара или стетоскоп?» и Иоахима Новотного «Прощальная мелодия детства» (из которой в сборнике опубликовано только начало, намечающее контуры сюжетной линии).

«Гитара или стетоскоп?» — удачный и многообещающий дебют молодого прозаика, сразу же получивший широкое признание в ГДР. Главный герой повести, — выпускник средней школы Балтус Прайсман, сын известного писателя. Балтус хочет всего добиться сам, не пользуясь именем и связями отца. До окончания школы Балтусу было совершенно очевидно, что он хочет стать врачом. Но прием в медицинские вузы для выпускников школы ограничен, и даже при высоком среднем балле Балтус не проходит по конкурсу. И тут же набегают соблазны: его приглашают гитаристом в молодежный ансамбль, а во время случайной поездки к Балтийскому морю он знакомится с девушкой, и знакомство это на поверку оказывается вовсе не мимолетным, а может быть, даже и решающим. И вся жизнь завязывается вдруг в тугой «взрослый» узел, где каждое опрометчивое действие и каждый незрелый поступок могут отозваться болью в чужом, но нет, вовсе уже не чужом, а близком и родном сердце. Вчера еще школьник, ребенок, а сегодня — взрослый, самостоятельно решающий свою, и не только свою, жизнь человек... Возможно ли такое? Пожалуй, невозможно.

Повесть Руди Бенцина привлекает еще и потому, что автор не форсирует возмужание своего героя — Балтус отзывчивый, непосредственный юноша, попадает порой в ситуации, требующие обдуманных и взвешенных решений, на которые он еще объективно не способен. Мы не знаем, станет ли Балтус Прайсман врачом или музыкантом, не знаем, как сложатся его отношения с Симоной. Но по ходу чтения повести возникает и крепнет уверенность, что юноша найдет свою дорогу в жизни и его новые отношения с людьми упрочатся, потому что он не избегает трудных проблем, не боится ответственности, готов к поиску правильных нравственных решений. Может быть, он станет и врачом и музыкантом...

Почти все произведения, вошедшие в сборник, написаны в ясной реалистической манере, хотя всем им присуща своя тональность и у каждого из авторов есть своя, индивидуальная, манера письма.

Некоторое исключение представляет рассказ Клауса Буркэ «Три ягоды шиповника», выдержанный в сказочной, а точнее, притчевой манере. Это рассказ о девушке, о мечтах и действительности, о возвышенных идеалах и реальных обстоятельствах жизни.

Сборник «Гитара или стетоскоп?» показывает направление гуманистической мысли современных писателей ГДР и их заботу о том, чтобы молодое поколение вступало в жизнь нравственно подготовленным и идейно стойким, душевно отзывчивым и духовно зрелым.

А. Гугнин

СОДЕРЖАНИЕ

Руди Бенцин. Гитара или стетоскоп? Повесть. *Перевод А. Репко* 3

РАССКАЗЫ

Уве Кант. Альфред-соня. *Перевод С. Мурина* . . . 156

Маргарете Нойман. Звезды. *Перевод С. Мурина* 165

Ютта Шлотт. Эдгар. *Перевод М. Яковлевой* . . . 172

Петер Брок. Почему мне пришлось променять Тео на папу. *Перевод Т. Сергиевской* 177

Иоахим Новотный. Прощальная мелодия детства. *Перевод В. Малахова* 186

Ганс Вебер. Мозес-задавака. *Перевод Е. Шлоссер* 199

Бенно Плудра. Умер волнистый попугайчик. *Перевод В. Малахова* 213

Герхард Хольц-Бауметр. Ластик, или Как возникают лавины. *Перевод Л. Фоминой* 220

Клаус Буркэ. Три ягоды шиповника. *Перевод Е. Кащеевой* 230

Гюнтер Гёрлих. Мартин. *Перевод А. Назаренко* 241

Послесловие. А. Гугнин 251

Г51 Гитара или стетоскоп? Повесть и рассказы писателей ГДР. Пер. с нем. — М.: Мол. гвардия, 1984.—255 с., ил. — (Компас).

35 к. 200 000 экз.

Сборник «Гитара или стетоскоп?» подготовлен «Молодой гвардией» совместно с издательствами «Киндербухферлаг» и «Нойес Лебен» (ГДР).

Основу сборника составляет повесть молодого писателя Руди Бенцина «Гитара или стетоскоп?». Рассказы, вошедшие в сборник, принадлежат писателям разных поколений.

И повесть, и рассказы адресованы подросткам, юношам и девушкам, знакомят с жизнью их сверстников в ГДР.

Г $\frac{4803020000-263}{078(02)-84}$ 162—84

ББК 84.4Ге
И (нем)

ИБ № 3887

ГИТАРА ИЛИ СТЕТОСКОП?

Редактор Е. Калмыкова
Художник А. Матрешин
Художественный редактор К. Фадин
Технический редактор Г. Варыханова
Корректоры Е. Дмитриева, Л. Четыркина

Сдано в набор 04.06.84. Подписано в печать 07.09.84. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр.-отт. 11,55. Учет-но-изд. л. 11,5. Тираж 200 000 экз. (2-й завод 100001—200000 экз.) Цена 35 коп. Изд. № 855.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119 Киев-119, Пархоменко, 38—42. Зак. 4—329.

35 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ